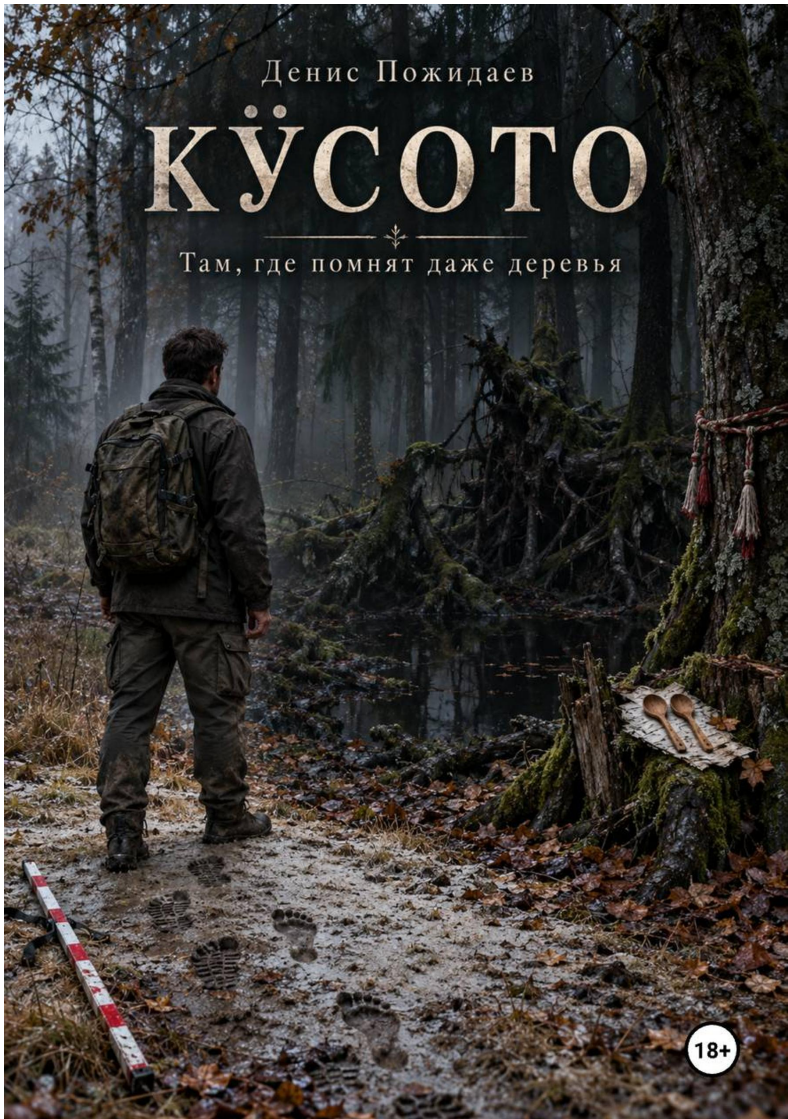


Денис Пожидаев

КЎСОТО

— ✦ —
Там, где помнят даже деревья



18+

Денис Пожидаев

Күсото

<https://litres.ru/74676854>

SelfPub; 2026

Аннотация

Күсото — марийская священная роща. Туда не заходят без дела.

Геодезист Андрей Ямбаршев прокладывает трассу ЛЭП в обход старой рощи в Марий Эл — и оказывается в конце VI века. Здесь нужно учить чужой язык, чинить сети и запастись едой на зиму. Он привык доверять расчётам. Но в этом мире расстояния не сходятся, дорога до затона занимает то двенадцать минут, то час, а люди одинаково ясно помнят события, которые исключают друг друга.

Местные знают, как с этим жить: не называй, не спрашивай, не своди дороги. Андрей пытается понять, что стоит за запретами. Тем временем человек с юга начинает устанавливать свой порядок — разумный, понятный, губительный.

Некоторые правила берегут людей, только пока никто не знает, зачем их соблюдают.

Историко-мистический роман о древних мари, памяти и цене знания. Марийская мифология, повседневность древнего Поволжья и тревога фолк-хоррора.

Название «Күсото» также передают по-русски как «Кусото» и «Кюсото».

Содержание

Часть I. Чужой лес	6
Глава 1. Линии на экране	6
Глава 2. За упавшим деревом	20
Глава 3. Нет сигнала	29
Глава 4. След, которого не должно быть	41
Глава 5. Человек без места	54
Глава 6. Дом у воды	67
Глава 7. Железо дорожке телефона	84
Глава 8. Ночь, которая другая	97
Глава 9. Имя для чужого	108
Глава 10. Рука на пороге	119
Глава 11. Холодные лета	128
Часть II. Реки	140
Глава 12. Вода вместо дороги	140
Глава 13. Долблёнка	151
Глава 14. Затон	162
Глава 15. Две ложки	172
Глава 16. Женщина, которая лечит словами	181
Глава 17. Вернувшийся муж	193
Глава 18. Пустое место	203
Глава 19. Когда сеть рвётся	214
Глава 20. Кто идёт рядом	225
Глава 21. Запрет охотника	237

Денис Пожидаев

Күсото

Часть I. Чужой лес

Глава 1. Линии на экране

На экране роща была похожа на след от мокрой кружки.

Андрей развёл пальцами масштаб, и след послушно распался на вершины полигона — сорок семь точек, у каждой номер, высота и дата. Он снимал этот контур в апреле, по последнему снегу, и помнил почти каждую: где нога проваливалась в наст по колено, где приходилось продираться с вехой через малинник, где на двадцать третьей точке приёмник полчаса не мог поймать фиксированное решение, потому что над головой смыкались липы толщиной в два обхвата. Теперь всё это было тонкой зелёной линией на сером фоне. Вокруг неё, делая аккуратный крюк, шла красная — ось будущей линии электропередачи.

Крюк стоил триста сорок метров провода, две лишние опоры и месяц переписки.

Изначально ось шла прямо. Андрей сам её и провёл — зимой, в тёплом офисе на Первомайской, по ортофотопла-

ну, по рельефу, по здравому смыслу: от подстанции к новой ферме, по сухому водоразделу, через край леса, где всё равно ничего не растёт, кроме старых лип и крапивы. Потом были общественные слушания в клубе Кожлаяла, и туда пришли женщины. Не активисты с распечатками, не люди из района — просто женщины, человек двенадцать, в пуховых платках поверх вязаных шапок, в куртках, из-под которых торчали цветастые подола. Сели в первые два ряда и молчали, пока представитель заказчика рассказывал про киловольты и про то, как ферма даст деревне рабочие места.

Потом одна из них, маленькая, с тёмным лицом, встала и сказала по-марийски:

— Там нельзя.

Не «мы против», не «это наше наследие», не «мы будем жаловаться». Просто «там нельзя» — так говорят ребёнку про горячую плиту, не утруждаясь объяснением. Подумала и повторила по-русски, для приезжих:

— Нельзя там.

И села.

Представитель заказчика что-то записал в блокнот и сказал, что все пожелания жителей будут учтены. Андрей сидел в третьем ряду с ноутбуком на коленях. Женщина, произнося свои два слова, смотрела почему-то на него, и он понял почему: скулы, разрез глаз, что там ещё узнают свои. Она говорила ему, как своему, на языке, на котором он когда-то понимал почти всё, а отвечал всегда по-русски. Он вежливо

кивнул и опустил глаза в экран.

Через три недели ось перенесли. Роща прошла в бумагах как «объект, обладающий признаками объекта культурного наследия», и в охранную зону от её края легли ещё пятнадцать метров. Андрею поручили снять контур. Он снял — сорок семь точек, аккуратно, по периметру, ни шагом внутри. Внутри было не нужно.

Сейчас, в начале мая, он доснимал новый участок трассы вдоль ручья и сидел в машине на обочине грунтовки, с открытой дверью, потому что в салоне пахло мокрыми ботинками. Ливень прошёл ночью, такой, какого в эту пору не бывает: гроза ходила над республикой до трёх часов, и утром, подъезжая, Андрей видел, как вода несёт по кюветам сухие стебли вместе с пластиковыми бутылками. Лес стоял тяжёлый, чёрный от влаги, с каждой ветки капало. В деревне кто-то затопил баню, и горьковатый берёзовый дым тянуло через поле, мешая с запахом мокрой земли. На западе, за полями, едва слышно гудела трасса — фуры шли на Казань. Поле между грунтовкой и лесом было не совсем ровным: наискось через него тянулась едва заметная ложбина, и в ней после ливня блестели длинные лужи. Андрей знал, что это такое, — старое русло ручья, распаханное ещё при колхозе. На топографических картах семидесятых годов оно было тонкой синей ниткой, на нынешних от него не осталось ничего.

Работы оставалось на полчаса. Приёмник сел на последней точке, раньше, чем обещал производитель, и лежал те-

перь в кофре на заднем сиденье, как уснувший зверь. Не страшно: основное Андрей снял ещё днём. Беспокоила одна точка — временный знак на берегу ручья, металлический штырь, вбитый в землю у ольхи, с деревянным колышком рядом, выкрашенным красным. От него шёл весь ход вдоль воды. Если ночная вода его подмыла или унесла, завтрашняя съёмка превращалась во вчерашнюю ошибку. Проверить можно было и без приёмника: дойти, посмотреть, сфотографировать. Семьсот метров по тропе вдоль края рощи, вниз к ручью, и назад.

Он уже вылезал из машины, когда зазвонил телефон.

— Ты где? — спросила Надя без «привет».

— На работе.

— Я знаю, что на работе. Где?

Андрей посмотрел на поле, на банный дым, на тёмную стену лип.

— Под Кожляялом.

Пауза в трубке была такая, что он успел пожалеть о правде.

— Три километра, — сказала сестра. — Андрюш, три километра. Заедь в дом, а? После такого дождя. Там над сенями шифер ещё осенью поехал, я тебе говорила. Если течёт, надо хоть плёнкой...

— Надь, у меня точка поплыла. Мне до темноты...

— Ты и в октябре был «до темноты».

Он промолчал. В октябре он сдавал объект под Медведе-

вом, сроки горели, заказчик звонил по три раза в день, и когда бабушка сказала в трубку — не попросила, а именно сказала, спокойно, как про погоду, — «приезжай, Андрей, я посмотреть на тебя хочу», он ответил: «Кова, через две недели, честно, сдам и приеду». Кова — так он звал её с детства, по-марийски; русское «бабушка» у него почему-то никогда не выговаривалось. Через две недели он приехал. На похороны.

— Ладно, — сказала Надя другим голосом, уставшим. — Не заедешь, так не заедешь. Только через старые места не ходи.

— Через что?

— Через рощу. Бабушка говорила, туда без дела не ходят. Андрей засмеялся — вышло громче, чем хотелось.

— У меня как раз дело. Я эту рощу с приёмником по периметру обошёл, сорок семь точек. Ничего она мне не сделала.

— Ты по периметру, — сказала Надя. — А внутрь?

Он не нашёлся, что ответить, и она, будто поняв, что перегнула, заговорила о другом. Тимоша третью ночь плохо спит, просыпается, плачет, говорит, что кто-то стоит у окна. В садике, наверное, кто-то напугал. Она уже и свет оставляла, и к себе брала.

— И знаешь, что помогает? — Надя хмыкнула. — Я ему бабушкино говорю. По-марийски. Он же ни слова не понимает. А засыпает. Смешно, да?

— Смешно, — сказал Андрей.

Ему не было смешно. Он вдруг увидел, очень ясно, как будто кто-то включил старый проектор: низкий потолок в бабушкином доме, крашенные голубым доски, ходики с гирькой в виде еловой шишки, запах печи и лука, который въелся в бабушкины руки навсегда. Ему семь, может, восемь, его отправили в деревню на всё лето, и он боится темноты, потому что в темноте за окном стоит чёрный огород, а за огородом — лес. Бабушка не включает свет. Она садится на край кровати, так что продавленный матрас кренится в её сторону, и кладёт ему на лоб сухую ладонь, и говорит несколько слов — коротких, мягких, с тем бабушкиным распевом, где голос в конце фразы не падает, а чуть приподнимается, словно ставит невидимый вопрос.

«Спи. Я посторожу».

По-марийски это звучало короче и как-то круглее. Однажды он спросил: «От кого?» Бабушка помолчала и сказала: «Спи». Он уснул, так и не получив ответа, а потом вырос и решил, что ответа не было.

— Ты слушаешь? — спросила Надя.

— Слушаю.

— Андрюш. Мы дом продавать не будем.

Опять. Он потёр переносицу.

— Надь. Кто там будет жить? Ты? Я? Тимоша?

— Никто. Пусть стоит.

— Дом без людей — это не память. Это... — он искал слово и нашёл самое плохое из возможных, — ...это расхо-

ды.

В трубке стало тихо. Потом Надя сказала — не зло, а как-то очень просто, как та женщина в клубе:

— Она тебя ждала.

— Надь, у меня связь пропадает, — сказал Андрей. — Я перезвоню.

И нажал красную кнопку.

Связь не пропадала: на экране горела одна уверенная палочка, как весь день. Он посидел, глядя на эту палочку. Потом набрал: «Перезвоню вечером. Не обижайся». Отправил. Сообщение повисло с маленькими часиками рядом — одной палочки хватало на голос, но не всегда на остальное. Ладно. Дойдёт, пока он ходит к ручью.

Он сунул телефон в нагрудный карман куртки, закинул на плечо рюкзак и захлопнул дверь.

* * *

Тропа шла вдоль края рощи — не внутрь, а вдоль, как ходили здесь всегда, судя по тому, как глубоко она была натоптана. Слева стояли липы, серые, с чёрными потёками на коре, между ними темнел густой подрост, пахло прелым листом. Справа тянулся луг, ещё бурый, с редкой зелёной щетиной, и над ним всё так же тянуло баннным дымом. Тропа полого спускалась к ручью. Андрей шёл быстро, по привычке считая шаги — не специально, просто голова так была устроена: восемьдесят шагов — пятьдесят метров, плюс-минус.

Земля раскисла. Ботинки уходили в неё с чавканьем, и на

каждом шаге приходилось чуть выдирать ногу. Трекинговые, водостойкие, за одиннадцать тысяч. По марийской глине после ливня их хватило до третьей лужи.

На четырёхсотом шаге тропа кончилась.

Поперёк неё лежала липа — старая, в полтора обхвата у комля, с дуплом, в котором вполне поместился бы ребёнок. Её вывернуло с корнем: корневая тарелка стояла торчком, выше человеческого роста, и с неё ещё стекала рыжая вода вместе с комьями глины. Ствол перегораживал тропу, а крона, огромная, спутанная, ушла вниз по склону, в луговую сторону. Там, где у корней раньше была земля, зияла яма, быстро заполнявшаяся мутной водой, а ниже по склону ливень промыл в глине канаву — метров восемь шириной, по колено, с жидким дном, по которому, как лава, сползала к ручью рыжая жижа.

Андрей остановился и автоматически, не думая, начал отмечать. Выворотень. Диаметр у комля около метра. Промоина шириной восемь-девять метров, глубина до полуметра, направление — на северо-восток, к ручью. Если такая же прошла у знака, знака больше нет. Он достал телефон, сфотографировал корни, промоину, ствол — для отчёта. Потом, подумав, открыл приложение и включил запись трека: пусть в отчёте будет не только фото, но и где именно эта красота лежит. Приложение пискнуло и нарисовало синюю точку с маленьким кругом точности — четыре метра. Хорошо.

Вариантов было три. Лезть через ствол — мокрый, скольз-

кий, в сучьях, и за ним вниз, в ту же жижу. Идти через промоину — по колено в глине, с риском оставить в ней ботинок. Или обойти по верху, вокруг корневой тарелки, по сухому.

По сухому было — внутрь.

Он посмотрел на экран. Синяя точка стояла ровно на зелёной линии, на его собственной границе, между тридцать первой и тридцать второй вершинами. Обход вокруг корней уводил за линию метров на двадцать, не больше.

«Там нельзя».

Андрей хмыкнул и пошёл по сухому.

Земля и правда вела сама. Сразу за корнями начиналось что-то вроде невысокой гривки — вытянутый бугор, покрытый прошлогодней листвой, и он был сухой, почти пружинистый, а слева и справа от него стояла вода в неглубоких западинах. Гривка изгибалась. Он шёл по ней, огибая упавшую крону по широкой плавной дуге, и сам удивлялся, насколько правильной выходит эта дуга, словно кто-то прочертил её циркулем. Липы внутри были другие, чем с краю. Толще, темнее, с корой, собранной в глубокие складки. Под ними было тихо той особой тишиной, какая бывает в старом лесу после дождя, когда капли уже не падают, а только висят. Он поймал себя на том, что старается ступать мягче, и разозлился на себя за это.

Где-то на середине дуги он остановился, потому что что-то изменилось.

Не сразу понял что. Постоял, прислушиваясь. Капала во-

да. Где-то над ним возилась птица. Всё как было.

Нет. Трасса.

Весь день, с утра, за спиной у него, на пределе слуха, гудела федеральная трасса — не звук даже, а фон, как шум холодильника в квартире, который замечаешь, только когда он выключается. Сейчас он выключился. И собака в деревне, которая лаяла с перерывами полдня, замолчала тоже.

И пахло иначе.

Андрей втянул воздух. Банный дым, горький, берёзовый, который тянуло через поле, — пропал. Вместо него пахло холодной водой, мокрой корой и чем-то сладким, густым, почти приторным. Черёмуха, понял он. Так пахнет черёмуха. Он огляделся — черёмухи нигде не было видно, да и рано ей, неделя ещё, а то и две. Он же видел утром у дороги: кусты стояли голые, с тугими зелёными кистями.

Он пошёл дальше. Гривка кончилась, дуга замкнулась, и он спустился вниз по склону, туда, где за кроной упавшей липы тропа должна была продолжаться к ручью.

* * *

Тропы не было.

Андрей спустился метров на сорок, до самой воды, и только тогда заметил, что под ногами нет натопанной земли — лишь листва, мох и корни. Промахнулся, подумал он. Обход увёл правее, чем казалось. Бывает.

Ручей был не тот.

То есть ручей был — вода, берег, течение. Но тот ручей, у

которого он с утра бил знак, был узкий, по колено, с глинистыми берегами, заросшими ивняком. Здесь вода шла широко, почти рекой, бурая, быстрая, с воронками, и несла на себе ветки и клочья пены. Высокая вода, половодье — ну хорошо, ночной ливень, могло подняться. Но берег... Берег под ногами был крутой, почти обрыв, в полтора человеческих роста, и в нём, как в разрезе, была видна земля: чёрный слой, под ним рыжий, под ним серая глина с белыми прожилками. Такого обрыва здесь не было. Андрей знал этот берег, он его снимал.

И за ручьём должна была быть просека.

Не просека даже — старая трасса списанной линии связи, двадцатиметровая полоса, заросшая берёзовым молодняком, с покосившимися деревянными столбами, на которых ещё висели обрывки проводов. Прямая, как по линейке. Он весь день по ней ориентировался: с любой точки у ручья её было видно, светлый коридор в тёмном лесу. На неё он утром привязывал ход.

Просеки не было.

За ручьём стоял лес — сплошной, тёмный, старый. Ели, каких он не видел даже в заповеднике: прямые, неохватные, с нижними ветвями, мёртвыми и седыми от лишайника. Между ними — ни просвета, ни столба, ни провода. Он смотрел туда, где должен был быть коридор, минуту или больше, и лес не сдвинулся.

Ладно.

Он достал телефон. Экран пришлось вытереть о куртку — ладони были в глине.

Офлайн-карта открылась послушно. Подложка — космоснимок прошлого лета, поверх — его слои: зелёный контур рощи, красная ось, синие точки съёмки, жёлтый ход вдоль ручья. Синей точки его местоположения на карте не было. Вместо неё по экрану расползлся бледный круг — сто метров, сто пятьдесят, двести, — а в углу мигала надпись: «Поиск GPS».

Лес, сказал себе Андрей. Крона, мокрые листья, облачность. Приёмник в телефоне не геодезический.

Он посмотрел на значок сети. Палочки не было. Вместо неё — крестик.

Сообщение Наде висело с часиками.

Он увеличил масштаб там, где телефон видел его в последний раз, и сравнил. По карте ручей в этом месте делал плавный изгиб влево, огибая мыс, и на мысу, у ольхи, стоял знак. В реальности вода уходила вправо. Мыса не было. Ольхи тоже. Трек, подумал он. Трек покажет.

Трек показал. Синяя линия шла от упавшей липы вверх, красиво огибала корни по дуге, почти по окружности, — и обрывалась на середине. На том месте, где он остановился, чтобы послушать тишину. Дальше не было ничего: телефон потерял спутники и перестал записывать.

Надо вернуться к липе. От неё — к тропе, по тропе — к машине. Знак подождёт до завтра.

* * *

Он пошёл назад вверх по склону, по собственному следу.

Сначала шёл уверенно: вот здесь спускался, вот этот корень перешагивал, вот мох, на котором поскользнулся. Потом склон стал круче, чем был, а потом кончился, и он вышел на ровное место, под липы, и остановился.

Липы стояли. Большие, тёмные, в складчатой коре. Такие же, как только что. Упавшей среди них не было.

Он повернулся кругом. Ни корневой тарелки в человеческий рост, ни ямы, наполненной рыжей водой, ни кроны, распластанной по склону. Ни промоины. Там, где полчаса назад глина сползала к ручью, как лава, лежала ровная прошлогодняя листва, прибитая дождём, бурая, с чёрными прожилками.

Не то место, сказал он себе. Он и к ручью вышел не там. Липа где-то рядом, в сотне метров: упавшее дерево такого размера не прячется.

Он постоял. Потом сделал то, что сделал бы на любом объекте, где потерял ориентир: пошёл по своему следу, но теперь медленно, глядя под ноги.

И почти сразу понял, что следа нет.

Земля была мокрая насквозь. Он шёл по ней полчаса назад, тяжело, с рюкзаком, в ботинках с глубоким протектором, — по такой земле его ноги должны были оставить борозду, как трактор. Он видел, как оставались следы на тропе: каждый — чёткий, с водой, набиравшейся в отпечаток. Сей-

час позади него, от того места, где он стоял, вниз к ручью, тянулась цепочка свежих отпечатков — те, что он только что сделал, поднимаясь. И всё. Дальше, выше, в ту сторону, откуда он пришёл, листва лежала нетронутая.

Андрей присел на корточки и прижал ладонь к земле. Ладонь ушла в мягкое, холодное, и когда он её поднял, в листве остался отпечаток: пять пальцев, бугор под большим пальцем, и в углублении медленно выступила вода.

Земля принимала следы. Просто его старых следов в ней не было.

Он выпрямился, вытер руку о джинсы. Вокруг стояла та же тишина, без трассы и без собаки, и пахло черёмухой, которой не было видно. Над головой, в прорехе между кронами, небо было светлое, вечернее, с розовым краем. До темноты оставалось часа два.

Андрей достал из рюкзака полевой блокнот — жёлтый, в клеёноччатой обложке, с разбухшими от сырости углами, — и карандаш. Руки делали это сами: когда не понимаешь, что происходит, записывай факты. Время, место, что видишь.

Он посмотрел на часы. Написал:

«18:52. У ручья. Выворотня (липа, ~1 м у комля) на месте нет. Промоины нет. Своих следов выше точки возврата нет. Просеки за ручьём нет. GPS — поиск. Сети нет».

Подумал и добавил строку ниже, крупнее, как пишут в журнале замечание, которое нельзя пропустить:

«Потерял привязку».

Глава 2. За упавшим деревом

Сначала он проверил приборы. Так было положено: когда не сходится, сначала исключи инструмент, потом исполнителя, и только потом местность.

Компас был старый, пластиковый, с прозрачным основанием и царапиной поперёк шкалы, купленный ещё на втором курсе для полевой практики и с тех пор ездивший в каждом рюкзаке. Андрей положил его на ладонь, дождался, пока стрелка перестанет дрожать, и развернул корпус. Север был там, где и должен был быть: солнце, низкое, желтеющее, стояло над лесом справа от линии запада, как ему и полагалось в начале мая в семь вечера. Стрелка и солнце не спорили. Он отложил подальше телефон и мультитул, повторил — то же самое.

Часы — простые, электронные, в чёрном пластике, с подсветкой и календарём — показывали 19:04, понедельник, четвёртое мая. Секунды бежали ровно. Он сверил их с телефоном: тот же понедельник, та же минута, разница в две секунды, как всегда.

Телефон держал шестьдесят четыре процента заряда. Сети не было. «Поиск GPS» сменился коротким «Нет данных о местоположении». Андрей закрыл карты и открыл то, чем почти никогда не пользовался: приложение с барометрическим высотомером, которое показывало высоту по давлению

воздуха. Цифры поплясали и остановились: сто сорок два метра.

Он открыл съёмку. Отметки по краю рощи — от ста тридцати восьми до ста сорока шести.

Высота совпадала. Направления совпадали. Время совпадало. Не совпадало всё остальное.

Он попробовал 112. Телефон подумал, показал «Вызов...», потом «Нет сети» и сбросил. Попробовал ещё раз, подняв руку над головой, как будто полметра что-то решали. Потом опустил руку и почувствовал себя глупо.

Ладно. Инструмент исправен — значит, исполнитель. Заблудился в семистах метрах от машины, на участке, который сам снимал. Неприятно и стыдно, но понятно: грибники выходят из леса за двадцать километров от того места, где вошли, и клянутся, что шли прямо.

* * *

Андрей сел на корень, стянул рюкзак и вытряхнул содержимое на куртку, расстеленную изнанкой вверх. Это тоже было из полевой привычки: прежде чем решать, куда идти, посмотри, с чем идёшь.

Бутылка воды, пол-литра, отпита на треть. Два батончика с орехами. Бутерброд с сыром в пищевой плёнке, раздавленный, — сделан утром, в шесть, на кухне, пока закипал чайник. Пауэрбанк, полный. Провод к нему. Ключи от машины с брелоком сигнализации. Бумажник: две тысячи сто рублей бумажками, три карты, права, скидочная карточка стро-

ительного магазина. Мультигул в чехле. Рулетка на пять метров. Рулон сигнальной ленты, красно-белой, на три четверти полный. Блокнот, три карандаша, ластик. Зажигалка — синяя, прозрачная, газ виден на просвет, чуть меньше половины. Он бросил курить два года назад, а зажигалку носил, как носят ключи от квартиры, где больше не живут: подпалить обтрёпанный конец шнура, прожечь дырку в ремне, дать прикурить кому-нибудь на объекте. Упаковка бумажных платков. Таблетка от головной боли в блистере, одна.

Он разложил всё это в ряд и некоторое время смотрел.

Странно, но первым, о чём он подумал, были не деньги и не карты. Он подумал: сколько часов до темноты. Солнце уже цеплялось за верхушки. В мае здесь темнеет поздно, но в лесу — раньше, чем в поле. Час, полтора. Может быть, два, если считать сумерки, в которых ещё можно различить ствол перед лицом, но уже нельзя — корень под ногой.

Машина. Семьсот метров на запад, по прямой; даже если ошибся на триста — выйдет к грунтовке, к полю, к чему угодно, что тянется с севера на юг. Сидеть и ждать было глупо: никто не знал, где его искать.

Он собрал всё обратно в рюкзак. Подумал и вынул рулон ленты.

* * *

Азимут двести семьдесят. Андрей оторвал полосу ленты длиной в локоть и завязал её на ветке орешника, на уровне глаз, бантом, чтобы легко развязать. Точка ноль. Засёк вре-

мя. Пошёл.

Он шёл, как ходил сотни раз по чужому лесу на изысканиях: взгляд на компас, выбрать ориентир впереди по линии — приметное дерево, выворотень, светлый ствол берёзы, — дойти до него, снова взгляд на компас, новый ориентир. Считал шаги — сто шестьдесят на сотню метров, — и на каждой сотне завязывал на ветке ленту. Сто. Двести. Триста. Лента трепетала за спиной красными и белыми вспышками, и от этого становилось спокойнее: он оставлял след, который никакая земля не проглотит.

Лес был трудный. Под ногами слишком много всего: валежник в несколько слоёв, поваленные стволы, заросшие мхом так, что их можно принять за бугры, ямы от корней, затянутые папоротником. Деревья старые, с широкими юбками корней, и между ними густой молодняк, тянувшийся к свету из каждой прорехи.

На трёхсотом метре он понял, что его беспокоит.

Не было пней. Ни одного. Считая от рощи, он прошёл по этому лесу уже с полкилометра, в трёх километрах от деревни, где мужики, как во всякой деревне, веками брали дрова, где стояли когда-то колхозные деланки, где он сам видел утром штабель брёвен у дороги. И ни одного пня со срезом пилы. Ни одной старой вырубке, заросшей березняком. Ни одной колеи от трактора, ни одной ржавой банки, ни одного пакета, выцветшего на суку, ни одной бутылки. Он, конечно, не искал их специально. Но глаз геодезиста цепляется за сле-

ды человека сам, как язык цепляется за скол на зубе: колея, межевой столбик, обрывок провода. Здесь зацепиться было не за что. Лес был как будто нетронутый. Как будто в нём никто никогда не жил.

Заказник, сказал он себе. Старый участок, до которого не добрались. Он не помнил здесь никакого заказника, но мало ли.

Семьсот метров.

Он остановился. Впереди был лес. Справа был лес. Слева, немного ниже, лес расступался, и там что-то блесело.

Никакой грунтолки. Никакого поля. Никакого луга с бурой щетиной и баннным дымом над ним.

Он завязал ленту — седьмую, — постоял и пошёл дальше. Восемьсот. Девятьсот. На девятистах он вышел к тому, что блесело.

Это был ручей.

Не тот, у которого он стоял час назад, — поменьше, быстрый, прозрачный, с песчаным дном и рыжими от железа камнями, и тёк он поперёк его пути, с севера на юг. На карте между рощей и грунтолкой никакого ручья не было. Андрей знал это не по карте — по ногам: он ходил там сегодня трижды, с вехой и приёмником, и ноги у него были сухие. Была, правда, ложбина в поле — старое русло, распаханное при колхозе, — мелькнуло и тут же погасло: по ложбине он ходил в ботинках, в ней стояли только лужи, и вокруг неё было поле, а не лес. Здесь ручей был. Чистый, звонкий, с ледяной

водой, которая, если опустить в неё руку, ломила пальцы до самого запястья.

Он опустил руку и подержал, пока не заломило.

Андрей сел на берегу, на сухой бугор, заросший черникой, и впервые за вечер позволил себе не думать минуту. Просто сидеть.

Потом достал бутылку и выпил — жадно, не считая глотков, и оторвался, только когда на дне осталось на палец. Вода была тёплая, пластиковая, невкусная. Рядом тёк целый ручей ледяной воды, и ему даже в голову не пришло пить оттуда. Он допил остаток, закрутил крышку и сунул пустую бутылку в боковой карман рюкзака.

Солнце ушло за деревья. Ручей из золотого стал серым.

Он думал о Наде. О том, что сообщение, наверное, так и висит с часиками. О том, что она сейчас, наверное, укладывает Тимошу и говорит ему бабушкины слова, которых ни она, ни Тимоша толком не понимают. Он думал, что позвонит ей, как только выйдет на связь, — нет, не позвонит, заедет. Заедет в бабушкин дом, посмотрит этот шифер над сениями, а потом позвонит Наде оттуда, из дома, и скажет: «Я здесь». Просто чтобы она услышала. Он подумал это очень отчётливо, как обещание, и ему стало немного легче.

* * *

Крик пришёл, когда он уже встал, чтобы идти вдоль ручья вниз по течению.

Человеческий голос. Далеко, за ручьём, в той стороне, ку-

да он не собирался идти. Долгий оклик, на два слога, второй — вверх, протяжно, как в деревнях зовут детей с улицы или корову из леса. Слов разобрать было нельзя. Голос был мужской, не молодой и не старый, спокойный.

Андрей замер. Сердце стукнуло в горло.

Люди. Значит, рядом деревня, хутор, пасека, лесник, рыбаки — кто угодно. Значит, всё это — просто дурацкий вечер в дурацком лесу, который через час станет историей. Он набрал воздуха и крикнул, как не кричал, наверное, с детства:

— Эй! Эге-ей! Я здесь! Сюда!

Лес съел его голос. Отозвалась какая-то птица и замолкла.

Он ждал. Смотрел туда, откуда пришёл оклик, — в тёмную стену за ручьём. Считал секунды, как считают после молнии: двадцать, сорок, минута.

Оклик повторился.

Тот же голос. Те же два слога, второй вверх, та же протяжка в конце, та же хрипотца на самом верху, где голос чуть надламывался. Точно такой же. Так не бывает, когда человек кричит дважды: второй раз всегда хоть чуть-чуть другой — громче, короче, с досадой, с вопросом. Этот был не похож. Этот был — тот же. Как запись.

Только пришёл он с другой стороны. Не из-за ручья. Сзади, из леса, по которому Андрей только что шёл и где на ветках висели его ленты.

Он не обернулся сразу. Стоял, слушал, как колотится в

висках кровь, и перебирал — быстро, как на экзамене. Эхо приходит сразу и с той стороны, где есть что отражать; здесь отражать нечего. Два человека с одинаковыми голосами, с одной и той же хрипотцой, на одном и том же месте? Один, который за минуту обошёл его кругом по валежнику, не хрустнув ни веткой?

Он медленно повернулся.

Позади стоял лес. Серый в сумерках, неподвижный. Ближайшая лента, девятая, висела на ветке метрах в сорока — белое пятно, красное пятно. Больше ничего.

Андрей открыл рот, чтобы крикнуть ещё раз, — и не крикнул.

Он не смог бы объяснить почему. Не было ни страха в обычном смысле, ни мысли о чём-то «таком». Было что-то очень простое, телесное, из тех далёких летних ночей в деревне, когда бабушка не включала свет: не отвечай. Если зовут из темноты — не отвечай. Никто ему этого не говорил, он был уверен, что никто, — но рот закрылся сам.

Он стоял и ждал третьего оклика. Третьего не было.

Стемнело совсем быстро, как будто кто-то прикрутил фитиль. Ручей теперь был только звуком. Андрей постоял ещё немного, потом сел обратно на свой бугор с черникой, спиной к ближайшему толстому стволу, и понял то, что должен был понять ещё полчаса назад: ни к какой машине он сегодня не выйдет.

Он будет ночевать здесь.

Он проверил зажигалку на просвет, как будто за полчаса газа могло стать больше, и начал считать. Не шаги — часы. От сумерек до рассвета в начале мая — часов семь. Семь часов, одна зажигалка, мокрые носки, куртка, два батончика, раздавленный бутерброд и пустая бутылка в боковом кармане, в которой ещё час назад была вода.

Глава 3. Нет сигнала

Огонь он развёл с четвёртой попытки и позже, чем следовало.

Сначала он даже не думал, что это будет трудно. Зажигалка, лес, полно дров — в любом фильме герой через минуту сидит у костра и задумчиво смотрит в пламя. Андрей нащупал в темноте несколько веток вокруг бугра, сложил их шалашиком, как учили в школьном походе, подсунул снизу скомканный бумажный платок и щёлкнул.

Платок вспыхнул, свернулся чёрным и погас. Ветки даже не задымили.

Он пощупал их — мокрые. Не влажные, а именно мокрые, насквозь, тяжёлые, как будто их достали из ручья. Всё вокруг было таким: земля, мох, валежник, кора, прошлогодняя листва, по которой он сидел. Лес был пропитан, как губка, и за день не отдал ни капли.

Второй платок. Третий. Он ломал ветки тоньше, до спичечной толщины, и они всё равно не брались, только шипели. Он переложил их, подул — от дыхания стало видно облачко пара: холодало. Зажигалку приходилось держать долго, и через минуту она обжигала большой палец. Он посмотрел её на просвет, но в темноте ничего не увидел, и от этого стало хуже: он не знал, сколько сжёт.

Береста, вспомнил он вдруг. Кто-то в том же школьном

походе, толстый вожатый с бородой, показывал: береста горит даже мокрая, в ней смола. Андрей встал, нашарил в темноте светлый ствол берёзы — тот, мимо которого проходил, выбирая ориентир, — и начал сдирать кору ногтями. Верхний слой шёл лохмотьями, тонкими, как папиросная бумага. Он набрал горсть, сунул под ветки, щёлкнул.

Береста затрещала, скрутилась, выбросила чёрный жирный дым и — загорелась. По-настоящему, высоким, коптящим, живым пламенем. Он подкладывал на неё прутья, самые тонкие, по одному, как кормят птенца, и через десять минут, перемазанный, с обожжённым пальцем, сидел перед огнём размером с кастрюлю.

Огонь был маленький, злой и дымный. Ветки не столько горели, сколько сохли на нём и тлели, выпуская белый пар. Чтобы он не погас, его надо было кормить всё время, а корм приходилось искать на ощупь в темноте, и каждая принесённая охапка была мокрее предыдущей. Андрей положил на край костра несколько толстых сучьев — сушиться впрок — и сел к огню так близко, что от джинсов пошёл пар.

Только теперь, при свете, он увидел, где сидит.

Он выбрал этот бугор, потому что на нём было сухо — вернее, суше, чем вокруг, — и потому что рядом ручей. Но бугор лежал в самом низу, в пойме, почти вровень с водой, а над ним с обеих сторон поднимались склоны. Воздух здесь стоял неподвижно и был холоднее, чем полчаса назад наверху, где он шёл по азимуту. Андрей это знал: холодный воздух

тяжелее, ночью он стекает по склонам в низины, как вода, и собирается там. Знал — и сел на самое дно.

Переходить было поздно. Огонь с таким трудом держался, что перенести его значило начать всё заново.

Он подтянул колени к груди, застегнул куртку до подбора и стал ждать утра.

* * *

Ночь оказалась длиннее, чем он её посчитал.

Холод пришёл не сразу. Сначала он был даже приятен — свежий, лесной, после дня в машине. Потом он забрался в мокрые носки и стал там жить. Потом — в поясицу, со стороны, отвёрнутой от огня. Потом Андрей понял, что никакой стороной к огню не согреть всего человека сразу: повернёшься лицом — мёрзнет спина, спиной — ноги и руки. Он поворачивался, как курица на вертеле, каждые несколько минут, и в конце концов научился сидеть боком, обняв колени, подставляя огню то одно, то другое плечо.

Пришли комары — первые, весенние, редкие и вялые, но от этого не менее злые. Звенели у самого уха, садились на шею и на запястья, туда, где кончались рукава. Он хлопал себя, пока не надоело, потом натянул капюшон и спрятал руки в рукава.

Где-то в темноте над лесом, низко, кто-то пролетал и хрюкал — странно, с присвистом, как будто кашляла маленькая свинья, — пролетал, затихал, через несколько минут пролетал снова. Андрей понятия не имел, что это. Птица, навер-

ное. Какая птица хрюкает на лету? Он не знал. Он вдруг понял, что за тридцать шесть лет не выучил голосов почти никаких птиц, кроме вороны, голубя и кукушки, и что это не казалось ему важным ни одной минуты его жизни.

Телефон он включал редко, только чтобы посмотреть время, и каждый раз жалел: белый свет экрана ослеплял, огонь после него превращался в тусклое пятно, а темнота вокруг становилась совсем чёрной и тянулась дольше, пока глаза привыкали снова. К полуночи он подключил телефон к пауэрбанку — на всякий случай, пусть будет полный, — и через полтора часа посмотрел: телефон показывал сто процентов, а на пауэрбанке погасла одна из четырёх лампочек. Он долго смотрел на три оставшиеся. Потом выдернул провод и спрятал оба устройства во внутренний карман, к телу, где теплее.

Он думал о том, что будет утром. Утром — просто. Светло, видно, сухо. Он пойдёт... Он не знал, куда пойдёт. Но утром знать было легче.

Он думал о том, что его начнут искать. Надя упрямая: не дозвонится вечером — позвонит ночью, утром позвонит в офис, в офисе посмотрят по объекту и найдут машину на обочине у Кожлаяла. Дальше МЧС, волонтёры, вертолёт, собаки, телефон по последней вышке. Он был встроен в систему, как точка в сеть, и система не могла потерять его надолго. Эта мысль согревала лучше огня.

Около часа ночи огонь начал умирать. Андрей подложил последний сук из тех, что сушились с краю, — тот зашипел,

задымил и не взялся. Он встал, чтобы набрать ещё, отошёл от костра на три шага и остановился.

Кто-то шёл.

Не близко. Метрах в двадцати, в темноте, выше по склону. Шаги были медленные, мягкие, с долгими паузами — шаг, тишина, шаг, — и в каждом было что-то тяжёлое, хотя шли тихо: под ногой не трещали ветки, а проседала и чавкала мокрая листва. Шаги двигались не к нему. Они двигались вбок. Потом снова вбок. Потом Андрей понял, что они идут по кругу, обходя костёр на одном и том же расстоянии, как обходят что-то, что не хотят трогать.

Он стоял, не дыша. Шаги остановились тоже.

Тишина длилась так долго, что он начал слышать ручей, собственную кровь в ушах и тихое шипение сырого сука в огне. Потом шаг — один — раздался уже с другой стороны. Как будто то, что ходило, за время тишины успело бесшумно перейти туда.

Он медленно достал телефон, включил фонарь и повёл лучом.

Свет упёрся в стволы, в мокрые листья папоротника, заблестевшие, как лакированные, в тёмные провалы между деревьями, в которые луч не пробивал. Никого. Ничего. Ни движения, ни отблеска. Лес стоял в белом круге света, как декорация.

Зверь, сказал себе Андрей. Лиса. Барсук. Одиравшая собака. Лось — нет, лось ломится, как трактор. Что-то некруп-

ное, любопытное, осторожное.

Он выключил фонарь. Шагов больше не было.

Он собрал охапку сучьев, не отходя от огня дальше, чем на длину руки, и остаток ночи просидел, не поворачиваясь к лесу спиной.

* * *

Рассвет наступил не сразу, а слоями. Сначала посерело небо. Потом из черноты выступили стволы, потом ветки, потом листья. Над ручьём лёг туман — плотный, белый, неподвижный, как вата, — и лежал там, где Андрей просидел всю ночь, будто подтверждая: да, самое холодное место, ты угадал.

Огонь дотлевал, серый, с тонкой струйкой дыма. Андрей не заметил, как задремал под утро, сидя, и проснулся оттого, что замёрзли уши и затекла шея.

Он встал — и тут же сел обратно.

Левая пятка горела. Он стянул ботинок, потом мокрый носок, и посмотрел. На пятке, там, где вчера весь день тёр задник, вздулся пузырь размером с пятирублёвую монету, а сверху кожа уже была содрана, и под ней розовело мокрое, блестящее мясо. Он даже не помнил, когда это случилось. Вчера нога болела — но вчера болело всё.

Он осмотрел себя целиком, как осматривают технику после поездки: руки — ссадины, обожжённый палец, комариные укусы; шея — и на шее, под воротником, сзади, что-то маленькое и твёрдое, чего там не должно быть.

Клещ. Уже впился, но неглубоко, крошечный, коричневый, размером с маковое зерно. Андрей выругался вслух, коротко, — первое слово, сказанное им за утро, — достал мультитул, раскрыл пассатижи и, выворачивая шею, на ощупь, минут пять пытался ухватить. Ухватил. Выкрутил против часовой стрелки, как учили, посмотрел: целый, с головой. Раздавил на камне. Привит, слава богу, — ревакцинация была в марте, как всем полевым, по приказу, и он ещё тогда ворчал, что день потерял в поликлинике. Сейчас он мысленно поблагодарил того, кто писал этот приказ.

Потом он открыл рюкзак и выругался второй раз.

Рюкзак всю ночь пролежал на земле рядом с ним, на мокрой листве, и вода пробралась внутрь снизу, по шву. Бумажник промок. Блокнот — клеёноччатая обложка спасла, только нижний край страниц разбух волной. А бутерброд, который он берёг на утро, как главную ценность, превратился в серый ком: плёнка лопнула, хлеб напился водой и расплылся в пальцах, как мокрый картон. Сыр внутри был цел. Андрей выковырял сыр, съел его стоя, двумя укусами, а хлебную кашу, не задумываясь, отряхнул с пальцев в папоротник. Потом съел один батончик. Второй оставил.

Пауэрбанк и телефон, спрятанные во внутренний карман, были сухими и тёплыми. Телефон показывал девяносто семь процентов, «Нет сети» и 05:41.

Он снова надел мокрый носок — сухого не было, — подложил под пятку сложенный бумажный платок, последний,

и затянул шнурок потуже, чтобы нога не ездила. Встал. Боль была терпимая, но она была: каждый шаг теперь начинался с того, что пятка напоминала о себе.

Вчерашний выбор — идти на запад, к машине, — больше не имел смысла. Он пришёл по ленте на запад, и на западе была только эта пойма и этот ручей. Искать машину, не зная, где сам находишься, — всё равно что искать ключи в тёмной комнате, где даже неизвестно, та ли это комната.

Оставалась вода: она всегда течёт вниз и куда-нибудь впадает, а на реках живут люди. Вниз по ручью — рано или поздно мост, дорога, деревня, рыбак с удочкой.

Прежде чем уйти, он всё-таки обошёл стоянку по кругу — по тому кругу, по которому ночью шли шаги.

Следы нашлись — на сыром склоне, выше костра, там, где не было листвы, а была чёрная голая земля. Маленькие, аккуратные, похожие на собачьи, но уже и изящнее, с четырьмя пальцами и треугольной подушечкой, и шли они ровной строчкой, одна лапа перед другой, словно по нитке. Андрей присел над ними. Лиса, решил он. Лисы так ходят — след в след, строчкой, он где-то это читал или видел в передаче. Лиса, которая ночью обошла чужой костёр, понюхала человека и ушла по своим лисьим делам.

Облегчение было такое сильное, что стало почти стыдно. Ночной ужас оказался лисой. Весь этот лес, со всеми пропавшими просеками и одинаковыми окликающими, наверное, объяснялся так же — просто он ещё не нашёл свою лису. Он

встал, закинул рюкзак и пошёл вниз по ручью почти бодро.

* * *

Ручей петлял. Андрей шёл по его левому берегу, где было суше, а там, где берег обрывался или зарастал ольшаником, поднимался на склон и обходил поверху. Туман над водой поднимался, рвался, таял. Солнце вышло, и лес вдруг стал другим — не чёрным и мокрым, а зелёным, золотистым, звенящим. Черёмуха здесь действительно цвела — он нашёл наконец её, целые заросли на берегу, белые, тяжёлые, одуряюще сладкие; он постоял возле них и почему-то вспомнил, как бабушка ставила черёмуху в банку на подоконник и как потом у всех болела голова.

Птицы орали так, что закладывало уши. Он опять не знал ни одной.

Пятка горела. Он шёл медленнее, чем хотел, и то и дело останавливался, чтобы перетянуть шнурок. Воды в ручье было сколько угодно, и через полчаса он наконец сдался — сел на камень, зачерпнул пустой бутылкой и выпил. Ледяная, чистая, с привкусом железа. Лямблии, подумал он и выпил ещё.

Около семи, после очередной петли, ручей вынес его на открытое место. Андрей прикинул по солнцу и по часам: из-за петель он шёл больше часа, а от ночной стоянки по прямой отошёл метров на триста, не больше.

Это была то ли пойменная поляна, то ли отмель, оставшаяся после спада весенней воды: широкий плоский язык ила

и песка, серого, гладкого, ещё мокрого, без единой травинки, между лесом и изгибом ручья. Андрей вышел на него и сразу увидел.

След.

Человеческий. Босой. Он шёл по илу со стороны леса — из-за спины Андрея, чуть левее, — цепочкой, как ходит человек: левая, правая, левая, шаг в шаг, ровно, не торопясь. Отпечатки были чёткие, свежие, с водой в пальцах, с глубокой пяткой и плавным подъёмом свода. Взрослый. Крупный. Мужчина, скорее всего.

Андрей огляделся. Никого. Солнце, ил, ручей, лес.

Люди. Живые, настоящие люди. Кто-то прошёл здесь только что — может быть, полчаса назад, может быть, десять минут. Рыбак. Кто ходит босиком в начале мая по ледяному илу? Ненормальный. Рыбак-морж. Мальчишки из деревни. Какая разница.

Он пошёл вдоль цепочки, стараясь не наступать на отпечатки, как будто они были уликой, и через двадцать шагов остановился.

След кончался.

Не уходил в воду. Не поворачивал на траву. Не переходил на камень. Он кончался посреди открытого ила, в десяти метрах от леса и в пятнадцати от ручья: последний отпечаток — правая нога, глубокий, чёткий, с водой в пятке, — а дальше ровная, нетронутая, гладкая серая поверхность. Ни следа назад. Ни следа вбок. Как будто человек, шедший по

илу, сделал шаг — и перестал быть.

Андрей долго стоял над последним отпечатком. Потом, сам не понимая зачем, достал рулетку.

Двадцать семь сантиметров от пятки до кончика большого пальца. Ширина в подъёме — десять. Он присел, расшнуровал правый ботинок, стянул носок и поставил свою ногу рядом, не касаясь. Его стопа была почти такой же. Может быть, на полсантиметра длиннее. Сорок третий размер. Сорок третий — самый обычный мужской размер, у половины мужиков сорок третий, это ничего не значило.

Он обулся. Сфотографировал след — последний отпечаток и цепочку, три кадра. Потом огляделся ещё раз, долго, по кругу, и медленно пошёл дальше, к лесу, вниз по ручью, и через сто метров остановился, сел на поваленный ствол и достал блокнот.

Он раскрыл его на чистом развороте. Вверху левой страницы написал: «Опасности». Вверху правой — подумав — «Не сходится».

Слева он написал: «Вода (пить из ручья?). Холод ночью — низины. Пятка левая — мозоль, содрана. Клещи. Еда: 1 батончик. Огонь: зажигалка < ½, береста. Телефон 97%, пауэрбанк 3/4».

Справа написал: «Липа (выворотень) — нет. Мои следы — нет. Просека — нет. Ручей № 2 — нет на карте. Пней нет, мусора нет. Оклик ×2, один и тот же, с разных сторон. Шаги ночью — лиса?» Подумал, поставил после «лиса» знак во-

проса второй раз. И дописал: «Босой след, 27 см, обрывается посреди ила. Нет продолжения».

Он решил держать их отдельно.

Он закрыл блокнот и убрал его не на дно рюкзака, как вчера, а в верхний клапан, подальше от земли и воды. Потом пошёл вниз по ручью.

Глава 4. След, которого не должно быть

Первый знак он чуть не прошёл.

Ручей сделал ещё одну петлю и прижался к крутому склону, и Андрею пришлось подняться наверх, в ольшаник, и продираться там, придерживая ветки, чтобы не хлестали по лицу. Одну он отвёл рукой — и она подалась слишком легко. Он остановился и посмотрел.

Ветка была срезана. Не сломана, не отгрызена зайцем — срезана одним косым ударом, чисто, с гладкой светлой поверхностью, на которой ещё выступал сок. Рядом, пониже, — ещё одна, тоже срезанная, так же косо. Кто-то шёл здесь и, не останавливаясь, одним движением убирал с дороги то, что мешало. Ножом или топором — таким острым, что древесина не размочалилась.

Андрей постоял над срезом, как над находкой. Потрогал пальцем — влажно. Сегодня. Может быть, час назад, может быть, два.

Он огляделся, ища дальше тропу, — и не нашёл. Не было ни натопанной земли, ни примятой травы. Только в пяти шагах, на голом сыром песке у корня, он нашёл половину отпечатка: край подошвы, мягкой, без протектора, не босой ноги — обутой во что-то гладкое, облегающее, как носок. Половину — потому что вторая половина пришлась на ко-

рень. Человек поставил ногу так, чтобы почти не коснуться песка.

Дальше следов не было совсем.

Смысл дошёл не сразу: следы в лесу Андрей представлял себе как цепочку отпечатков на снегу из детской книжки. Здесь цепочки не было. Здесь была работа: кто-то шёл, выбирая, куда ступать, — по корням, по камням, по плотному мху, по сухим местам, — обходил каждый клочок мягкой земли, где мог бы отпечататься, и ни разу не наступил туда, где наступил бы Андрей. Это было похоже не на походку, а на почерк: аккуратный, экономный, без единой кляксы.

Он пошёл по этому почерку, как умел. Методом, которым ищут потерянную точку на объекте: от последнего известного места — расширяющимися кругами. Нашёл ещё один срез, на уровне груди. Потом клочок бурой шерсти на сучке — неизвестно, чей. Потом содранный с поваленного ствола мох там, где через ствол перешагнули. Он радовался каждой находке, как ребёнок, и каждый раз, найдя, терял направление снова, и снова кружил. Пятка горела, пот тёк за воротник, комары висели над головой облаком. Через полчаса он обнаружил, что ушёл от ручья, и что человек, по следам которого он идёт, тоже ушёл от ручья, и что возвращаться к воде уже поздно — теперь было что-то лучше воды.

А потом у него появилось чувство.

Не звук — звуков не было, кроме птиц и собственного дыхания. Именно чувство, знакомое каждому, кто хоть раз шёл

ночью через пустой двор: на тебя смотрят. Спиной, затылком, шеей, тем местом под волосами, где утром сидел клещ. Андрей остановился и обернулся.

Лес. Ольха, ель, солнечные пятна на мху. Никого.

Он пошёл дальше. Чувство не прошло. Оно шло рядом, чуть сзади, и когда он останавливался — останавливалось тоже.

И вдруг — от этой мысли вспотели ладони — до него дошло, что всё это время он думал неправильно. Он думал, что идёт за кем-то. А тот, чьи следы он искал, шёл так, как ходит человек, который не хочет, чтобы за ним шли. Такой человек не станет оставлять срезанные ветки на уровне груди. Если только...

Если только он не оставлял их нарочно. Для того, кто пойдёт следом.

* * *

Голос прозвучал справа и сзади, совсем близко, — одно короткое слово, резкое, как щелчок.

Андрей не понял слова. Он понял всё остальное. Тон, которым это было сказано, не нуждался в переводе: так на всех языках мира говорят «стой».

Он стоял.

Из-за толстой ели, в пяти шагах — в пяти, он проходил мимо этой ели минуту назад и не увидел ничего, — вышел человек с луком.

Молодой, лет двадцати пяти, невысокий, жилистый, с об-

ветренным лицом цвета старой кожи и светлыми, почти прозрачными глазами. Редкая рыжеватая борода. Тёмные волосы, собранные сзади и чем-то перехваченные. На нём было что-то вроде длинной рубахи ниже бёдер, из грубой серо-бурой ткани, подпоясанной широким кожаным ремнём, и на ремне, когда человек двигался, тускло поблёскивали маленькие металлические бляшки — ряд одинаковых, аккуратных, как пуговицы на форме. На поясе — нож в кожаных ножнах. За спиной — колчан. Ноги обмотаны до колен чем-то тёмным, перекрещенным ремешками, и обуты в ту самую мягкую, облегающую, гладкую кожу, которая оставила на песке половину следа.

Лук был невелик, тёмный, гладкий, отполированный руками. Стрела лежала на тетиве. Тетива была натянута на треть — не до уха, как в кино, а так, чтобы можно было в одно движение дотянуть до конца. Наконечник, тёмный, железный, листовидный, смотрел не в грудь Андрею, а в землю перед его ботинками.

Андрей медленно поднял руки. Ладонями вперёд. Он не знал, что этот жест значит здесь, но другого не знал.

Человек посмотрел на его руки, на лицо, на рюкзак, на ботинки. Смотрел долго, внимательно, без страха и без злости, как смотрят на незнакомую зверушку, которая может оказаться и безобидной, и нет. Потом сказал что-то — несколько слов, коротких, с тем же подъёмом голоса в конце, который Андрей слышал вчера в двойном оклике и почти трид-

цать лет назад — в бабушкином «спи», — и замолчал, ожидая ответа.

— Я не понимаю, — сказал Андрей. Голос сел, пришлось откашляться. — Я не понимаю. Я заблудился. Мне нужно к людям. К дороге. Понимаете? Дорога. Деревня. Кожлаял.

Человек слушал, чуть наклонив голову. На слове «Кожлаял» у него что-то дрогнуло в лице — не узнавание, а скорее удивление, как если бы собака вдруг сказала почти человеческое слово. Потом снова стало спокойным.

Он опустил лук. Не убрал — просто опустил, и тетива ослабла.

* * *

Потом он сделал то, чего Андрей не ожидал совершенно: обошёл его кругом.

Медленно, в трёх шагах, как обходят лошадь на ярмарке. Остановился сбоку. Посмотрел на ноги. Андрей, сам того не замечая, стоял, перенеся вес на правую, потому что левая пятка при каждом шаге посылала вверх, в колено, тупой гвоздь. Человек что-то сказал — одно слово — и указал подбородком вниз, на землю. Потом на ногу. Потом снова на землю.

Андрей сел.

Человек не подошёл к ботинку. Он остановился рядом, присел на корточки, положив лук на колено, и снова указал подбородком — на ботинок, потом сделал короткий жест, словно что-то стягивал. Андрей расшнуровал и снял боти-

нок. Стянул носок — мокрый, серый, с бурым пятном на пятке.

Бумажный платок, подложенный утром, давно съехал и скатался в комок, прилипший к ране. Андрей начал его отдирать — и зашипел.

Человек цокнул языком. Так цокают на всех языках: эх ты.

Он развязал на поясе небольшой кожаный мешочек, запустил туда пальцы и вытащил щепоть чего-то сухого, светлого, похожего на серо-зелёную вату. Мох. Сухой, мягкий, лёгкий, он пах болотом и почему-то чистотой. Человек показал его Андрею, потом — на пятку, потом — на ручей, который шумел где-то внизу, за ольшаником.

До Андрея дошло не сразу. Промыть. Он похромал вниз, к воде, человек пошёл следом — бесшумно, Андрей только один раз, обернувшись, убедился, что он там. У воды Андрей сунул ногу в ручей и держал, пока ледяная вода не отмочила платок и не унесла его. Рана открылась — розовая, мокрая, с белыми лохмотьями кожи по краям. Человек смотрел, чуть сощурившись, как смотрит плотник на трещину в доске. Потом положил на пятку свой мох — толстым слоем, прижал ладонью — и откуда-то, из того же мешочка или из-под ремня, достал полосу ткани, узкую, серую, мягкую от стирки, и обмотал ногу — через пятку, через подъём, крест-накрест, — быстро, туго, но не тесно, и завязал сбоку плоским узлом, который не давил.

Потом он показал на ботинок и на шнурки. Показал, как

Андрей их затянул утром: сжал кулак, скрутил. Покачал головой. Показал другое: слегка, ладонь раскрыта. Не тяни. Нога должна дышать. Он утром затянул потуже, чтобы нога не ездила, — и тёр ещё хуже.

Андрей обулся, как ему показали. Пятке стало не легче, но иначе: боль из острой сделалась тупой и ровной, её можно было нести.

Он хотел сказать спасибо — и понял, что не знает, как. Сказал по-русски:

— Спасибо.

Человек никак не отозвался.

Андрей достал из кармана рюкзака бутылку, зачерпнул из ручья и стал пить, — жадно, большими глотками, запрокинув голову, как пил всегда. Он весь взмок, пока продирался по ольшанику, и вода была такой холодной, что ломило зубы, и такой вкусной, что он не мог остановиться.

Человек положил руку ему на запястье.

Не отнял бутылку — к ней он так и не прикоснулся, — а просто положил руку на запястье и чуть надавил вниз. Андрей опустил бутылку. Человек показал на свой живот, потом на ручей, потом сложил ладонь ковшиком, зачерпнул и отпил — один глоток, маленький. Подождал. Ещё один. Потом посмотрел на Андрея.

Горячему — не хлебать ледяную воду. Живот скрутит, ноги сведёт. И не помногу сразу: идти ещё долго. Он это где-то знал. Все это где-то знают.

Он отпил один глоток. Человек кивнул — чуть-чуть, одним подбородком — и перевёл взгляд на рюкзак, висевший у Андрея на одном плече.

Этот взгляд Андрей понял без жестов. Он так носил рюкзак всю жизнь — на одной лямке, по-студенчески, и все инструкторы по техбезопасности говорили, что так нельзя, а он кивал и продолжал. Человек подошёл, взялся за рюкзак снизу — снаружи, за ткань, словно это был обычный мешок, — взвесил его в руке, хмыкнул, потом сдёрнул с плеча Андрея и держал так, чтобы тот продел руку во вторую лямку. Затем подтянул обе. Рюкзак сел выше и плотнее, на лопатки, и вдруг стал вдвое легче.

— Ладно, — сказал Андрей. — Понял. Я понял.

Человек отступил на шаг и снова посмотрел на него всего, от ботинок до макушки, — теперь, кажется, чуть менее как на зверушку.

* * *

Сидя у ручья, пока человек сматывал свой мешочек, Андрей сделал то, что пришло в голову само, от отчаяния или от упрямства.

Он показал на воду и сказал:

— Вюд.

Это было бабушкино слово. Он не говорил его, наверное, лет двадцать — может быть, с тех пор, как перестал ездить в деревню на лето. «Вюд», вода, — так бабушка говорила, наливая ему в кружку из ведра, так кричала с крыльца, когда

он лез в пруд. Он и не знал, что помнит его, пока не сказал.

Человек замер. Потом медленно повернулся к Андрею всем телом.

— Вюд, — повторил Андрей и снова показал на ручей.

И человек засмеялся.

Не зло, не насмешливо — а так, как смеются, когда ребёнок впервые выговаривает что-то почти правильно: с удивлением и с каким-то облегчением. Смех был короткий, хрипловатый, и вместе с ним у него на обветренном лице собрались морщинки у глаз, и он вдруг стал выглядеть ещё моложе, чем Андрей подумал вначале. Он показал на ручей и сказал — своё.

Слово было похоже. Андрей слышал, что оно похоже, — как слышишь родственное лицо в толпе, — но оно было другим: длиннее или глубже, с иным гласным посередине, будто то же самое слово произнесли не губами, а горлом, и с каким-то призвуком в конце, которого в бабушкином «вюд» не было. Человек повторил его медленно, специально для Андрея, как повторяют для глухого. Андрей попробовал за ним — не вышло. Человек снова засмеялся и сказал ещё что-то, длинное, уже совсем непонятное, где это слово мелькнуло один раз и утонуло среди других.

— Кид, — сказал Андрей, показав на свою руку. Рука.

Человек посмотрел на его руку, на свою. Кивнул. Сказал — своё, опять похожее, опять другое.

Андрей почувствовал что-то такое, для чего у него не бы-

ло названия. Как если бы, заблудившись в чужом городе, он вдруг услышал из открытого окна мотив, который знал в детстве, но сыгранный на незнакомом инструменте и в другой тональности.

Он хлопнул себя ладонью по груди:

— Андрей.

Человек посмотрел на его ладонь на груди. Потом повторил жест — хлопнул по своей.

— Вараш.

— Вараш, — сказал Андрей.

Вараш кивнул, будто это само собой разумелось, и попробовал:

— Ан... — Он запнулся, словно звук упёрся во что-то во рту. — Андр-ай.

— Андрей.

— Андрай, — сказал Вараш уверенно, как окончательное решение, поднял лук и пошёл.

* * *

Они шли на восток — Андрей определил по солнцу, почти не глядя на компас. Вараш впереди, в пяти-шести шагах, не оглядываясь. Андрей сзади, стараясь наступать туда же, куда наступал он, и у него это не получалось: Вараш ступал на корни и камни с тем же почерком, который Андрей читал полчаса назад, а Андрей, пытаясь повторить, то оскальзывался, то промахивался и шлёпал в мягкое. Через сотню шагов он бросил попытки и шёл как умел.

Лес шёл вверх, полого, и становился светлее. Ели кончились. Пошли берёзы, потом осина, потом — впереди, на пологом подъёме, — что-то большое и тёмное. Липы. Старые, огромные, стоящие широко и свободно, как колонны, с тёмной складчатой корой. Под ними было чисто и светло, не было подроста, валежника, ям — ровная земля, почти как в парке. Андрей посмотрел туда и почувствовал облегчение: наконец-то можно идти, не продираясь.

Вараш остановился и поднял руку.

Потом повернул налево, вдоль края лип, по березняку, где было тесно, сыро и полно поваленных стволов.

— Эй, — сказал Андрей. — Эй, подожди. Туда же... Там же ровно. — Он показал на липы. — Там легче. Нога, — он показал на ногу. — Мне тяжело по этому... Там прямо!

Вараш обернулся. Посмотрел на Андрея, на его руку, указывающую на липы. Лицо у него стало не сердитое и не испуганное — оно стало очень терпеливое. Такое лицо бывает у взрослого, когда ребёнок тянет руку к горячей плите: объяснять незачем, просто нельзя. Вараш сказал одно слово. Коротко. С лёгким нажимом.

— Да почему? — сказал Андрей, уже зная, что не получит ответа и что спорить глупо, и всё-таки спорил, потому что хромал, потому что устал, потому что за двое суток никто ему ничего не объяснил. — Что там? Болото? Там сухо, я же вижу! Там...

Вараш не ответил. Он не поднял лук — просто переложил

его из левой руки в правую, и стрела, которую он так и не вернул в колчан, повернулась вместе с ним и на секунду нацелилась куда-то Андрею в колени. Может быть, случайно. Может быть, нет.

Андрей замолчал.

— Ладно, — сказал он. — Ладно. Как скажешь.

И пошёл за Варашем в березняк, в обход.

Обход был долгим. Липы стояли справа, за березняком, всё время на одном и том же расстоянии, и Андрей, чтобы отвлечься от пятки и от злости, начал делать то, что делал всегда, когда нечего было делать: считать. Шаги, азимут. Через каждую сотню шагов — взгляд на компас, цифра в голове. Триста сорок градусов. Триста пятьдесят пять. Десять. Двадцать пять. Азимут медленно, ровно, без рывков уходил вправо, и стало ясно, что они идут не прямо, а по дуге, огибая липы по кругу. Он достал блокнот и на ходу, спотыкаясь, записал столбиком цифры — шаги и градусы, — как пишут полевой журнал: потом можно будет нарисовать.

Где-то на середине дуги ему стало странно. Как будто он уже шёл когда-то вот так — по сухому краю, по плавной кривой, огибая что-то справа, чего не видно за деревьями. Мысль мелькнула и ушла, не зацепившись: мало ли где он ходил по дугам. Он полжизни ходил по дугам.

Дуга кончилась. Липы остались позади, за спиной, и Вараш снова повернул на восток и остановился на краю небольшой поляны, у поваленной берёзы, и подождал Андрея.

Когда Андрей подошёл, Вараш запустил руку за пояс, туда, где под ремнём у него что-то топорщилось, и вытащил и протянул ему на ладони моток.

Андрей не сразу узнал, что это. Потом узнал.

Его лента. Красно-белая, сигнальная, вся — все десять полос, от точки ноль на орешнике до девятой, у ручья, — развязанные, расправленные и смотанные в тугой аккуратный клубок, виток к витку, так ровно, как сам Андрей никогда в жизни не сматывал.

Он взял клубок. Посмотрел на Вараша.

Вараш сказал что-то — короткое, спокойное, — показал на ленту, потом широким жестом на лес вокруг, потом покачал головой. Жест был простой, как «не мусорить». Но это было не «не мусорить». Вараш шёл по его ленте: вчера вечером или на рассвете нашёл первую полосу на орешнике у лип и прошёл от неё всю линию, полоса за полосой, до ручья, до бугра с черникой, до костра в низине. И дальше по следам, по сломанным веткам, по вмятинам тяжёлых ботинок — до той минуты, когда Андрей решил, что сам кого-то выследил.

Андрей сунул клубок в карман куртки. Вараш уже шёл дальше через поляну, не оглядываясь, бесшумно.

Андрей пошёл за ним, стараясь ступать тише, и опять не смог.

Глава 5. Человек без места

Вараш читал лес так, как Андрей читал чертежи: не глядя на него целиком, а сразу выхватывая то, что имело значение.

Андрей понял это на первом же ручейке, который они переходили после лип. Вараш остановился на глинистом берегу, присел и некоторое время смотрел в землю, будто там было что-то написано. Андрей подошёл и посмотрел тоже. Глина была истоптана: какие-то вмятины, раздвоенные, крупные, глубокие, с выдавленной по краям жижей, и между ними — сломанный стебель прошлогоднего тростника.

Вараш показал на вмятины и сказал слово. Потом, видя, что Андрей не понял, поднял обе руки к голове, растопылив пальцы, — широко, как рога, — и медленно, тяжело качнул головой.

Лось. Это было понятно даже ему.

Но Вараш на этом не остановился. Он опустил ладонь в самую глубокую вмятину и подержал там, словно мерил температуру у больного. Провёл пальцем по краю — край был острый, чёткий, ещё не оплывший. Посмотрел на жижу в следе, на то, как она стоит — мутная или уже отстоялась. Потом поднял лицо к солнцу, которое стояло высоко, чуть за полдень, и показал рукой на небо: от того места, где солнце сейчас, немного назад, на восток, — на ширину ладони. Потом показал рукой вдоль ручья, вниз: туда ушёл.

Недавно, понял Андрей. Час, может, меньше. Туда.

Он смотрел на следы и видел то, что видел: вмятины в глине. Он мог бы сказать, какой здесь уклон, куда стекает вода после дождя, где русло будет размывать в следующий паводок и почему здесь, на этой излучине, берег низкий, а вон там — крутой. Всё это он видел сразу, без усилия, как видят буквы грамотные люди. И ничего из этого здесь не имело значения. То, что имело значение, было написано на другом языке, и он был в нём неграмотен.

Через полчаса, на тропе — теперь это была уже тропа, узкая, но натопанная, — Вараш остановился снова и показал на землю, где Андрей не видел ничего, кроме примятой хвои. Показал два пальца. Потом прошёл пару шагов, привлекая ногу, — так убедительно, что Андрей невольно поморщился, — и снова показал два пальца, и потом — на себя, будто сравнивая: один тяжелее. Двое. Один хромой. Один тяжёлый.

— Откуда ты знаешь? — сказал Андрей по-русски, зная, что его не поймут.

Вараш посмотрел на него, потом на хвою, потом снова на него — с тем выражением, с каким смотрят на человека, спросившего, откуда ты знаешь, что сейчас день. Показал на землю. Мол — вот же.

Он смотрел на землю. Хвоя. Примятая. Больше — ничего.

Он вдруг вспомнил себя студентом на первой практике, когда преподаватель, седой, желчный дядька с Урала, ткнул

пальцем в аэрофотоснимок — серое пятно, в котором Андрей не видел ровно ничего, — и сказал: «Старица. Заросшая. Видишь?» А он не видел. И злился. И через месяц уже видел сам, и через год не понимал, как можно было не видеть. Здесь было то же самое — только снимок был не на столе, а вокруг, со всех сторон, и шевелился.

* * *

Отдыхали на сухом бугре над водой, под старой сосной, когда солнце уже начало клониться.

Вараш сел, положил лук рядом, так, чтобы можно было взять не глядя, и развязал на поясе другой мешочек — не тот, с мхом, побольше. Вытащил что-то тёмное, плоское, твёрдое, завёрнутое в широкий лист. Развернул. Рыба. Сушёная, почти чёрная, прокопчённая, размером с ладонь, и такая твёрдая, что, когда Вараш её разламывал, она хрустнула, как щепка.

Он разломил её пополам — точно пополам, Андрей видел, как он примеривался, прежде чем надавить, — и протянул половину.

Андрей взял. Откусил. Рыба была солёная — нет, не солёная, просто очень рыбная, дымная, крепкая, с привкусом золы и чего-то горьковатого, травяного; её надо было не жевать, а отгрызать и держать во рту, пока не размокнет. Он жевал и думал, что никогда в жизни не ел ничего вкуснее, и одновременно думал, что в любой другой день, в любом другом месте выплюнул бы это в салфетку.

Он вспомнил про батончик.

Достал его из кармана рюкзака, последний. Обёртка хрустнула — громко, пластиково, по-магазинному, — и Вараш дёрнул головой на звук, как дёргается собака на незнакомый шорох. Андрей надорвал обёртку, вытащил батончик — коричневый, в шоколадной глазури, с орехами, с какими-то хлопьями, — разломил, как Вараш, пополам и протянул половину.

Вараш посмотрел на неё. Не взял сразу. Понюхал — наклонившись, не касаясь. Потом всё-таки взял — двумя пальцами, осторожно, как берут незнакомого жука, — и откусил самый краешек.

И замер.

С лицом у Вараша что-то произошло. Не восторг — скорее изумление, почти испуг, как у человека, который отпил из кружки воду, а там оказалось что-то совсем другое. Вараш перестал жевать. Посмотрел на кусочек у себя в пальцах. Посмотрел на Андрея. Сказал одно слово — тихо, с вопросом. — Сладкое, — сказал Андрей. — Шоколад. Сахар.

Вараш снова откусил — чуть больше, — и долго, медленно жевал, прикрыв глаза, как пробуют что-то, что хотят запомнить. Потом, не доев, завернул оставшуюся половину своей половины в угол того же листа, в котором была рыба, аккуратно, туго, и убрал в мешочек.

Для кого-то, понял Андрей. Он оставил это для кого-то.

Сам он доел свою часть в три укуса, скомкал обёртку и,

не думая, швырнул её в кусты.

Вараш проследил глазами, куда она упала. Посмотрел на яркий, блестящий, чужой комок в прошлогодней траве. Потом на Андрея. Ничего не сказал.

Он встал, достал обёртку из кустов, разгладил и сунул в карман. Было стыдно, как в детстве, когда бабушка находила фантики под кроватью.

А Вараш тем временем делал что-то, что Андрей сначала не понял. Он собирал крошки. Смахнул с колен в ладонь всё, что отломилось от рыбы: крошки мяса, чешуйки, кусочек хвоста, полоску кожи, — ссыпал всё это в отдельный маленький свёрток из бересты и убрал. Кожу, хвост, чешую. То, что Андрей, не задумываясь, отряхнул бы с джинсов на землю.

Бедность, подумал Андрей. Весна, конец запасов, каждая крошка на счету. * * *

Отдохнув, Вараш занялся тем, чего Андрей ждал с самого утра и боялся.

Он хлопнул себя по груди:

— Вараш.

Потом показал рукой — широко, в ту сторону, куда они шли, на восток, — и сказал несколько слов. Какое-то имя или название, потом ещё одно. Потом снова хлопнул себя по груди и сказал ещё слово. Потом указал на Андрея и замолчал, приподняв брови.

Андрей понял: вот я, вот откуда я, вот чей я. А ты?

— Андрей, — сказал он. — Андрей Ямбаршев.

Вараш ждал продолжения.

— Йошкар-Ола. — Андрей показал на запад, неуверенно, туда, где за лесами, если лес этот был тем, чем он хотел, чтобы был, стоял его город, его девятиэтажка на Строителей, его машина на обочине. — Я инженер. Геодезист. Я работаю... — Он запнулся. Бесполезно. Слова падали в Вараша, как камешки в воду, и не оставляли кругов.

Вараш слушал с вежливым терпением. Потом сказал слово, которое Андрей понял.

— Ава?

Мать. Бабушкино слово. Бабушка, говоря о его маме, говорила «ваша ава», и в деревне все матери были «ава». Андрей слышал его здесь, в этом лесу, из уст этого человека, и у него на секунду сжалось горло — не от смысла, а от того, что слово оказалось тем же. Почти тем же. Чуть иначе, чуть глубже, как «вюд», но тем же.

— Ава, — повторил он. Помолчал. — Нет. Нету.

Он не знал, как показать «умерла». Показал на себя, потом развёл руками, потом, подумав, опустил ладонь вниз, плашмя, к земле, и закрыл на секунду глаза.

Вараш понял. Кивнул — медленно, серьёзно. Что-то тихо сказал, одно слово, не Андрею — будто в сторону, будто кому-то третьему.

Потом:

— Ача?

Отец. Это тоже было знакомо.

И вот здесь Андрей не знал, что ответить. Отец ушёл, когда Надя была маленькой, а Андрей учился во втором классе. Жил где-то в Казани, потом в Самаре, потом снова в Казани, звонил на Новый год, потом перестал. Андрей не видел его лет десять. Не знал, жив ли он вообще, — нет, знал, кто-то говорил, что жив, женился третий раз, но где именно он сейчас живёт, в каком городе, на какой улице, — не знал. Не интересовался. Это было нормально. У половины его знакомых было так.

Он пожал плечами. Показал рукой — куда-то, далеко, неопределённо.

— Не знаю, — сказал он. — Где-то там. Не знаю.

Вараш смотрел на него очень долго.

Прочитать этот взгляд он не мог. Там не было ни насмешки, ни осуждения. Было что-то другое, похожее на то, как человек смотрит на рану, которой не ожидал увидеть: смесь недоверия и осторожности. Вараш спросил что-то ещё — несколько коротких вопросов подряд, быстрее, с разными словами. Андрей разобрал одно, похожее на бабушкину «кову», и сказал: «Кова — умерла. Осенью», — и снова опустил ладонь к земле. Потом Вараш показал на землю под ними, на лес, на реку, провёл рукой вокруг — и спросил. Андрей понял: где твоя земля? где твои? И тут он не смог уже ничего. Он мог бы показать на карте в телефоне — вот квартира, вот офис, вот Кожляял, — но карта в телефоне показывала

землю, которой здесь не было.

Он развёл руками.

Вараш кивнул, как будто слышал ответ — и ответ был плохой. Встал, подобрал лук и пошёл дальше, не оглядываясь.

Андрей шёл за ним и думал, что за тридцать шесть лет ни разу не оказывался в положении, когда не может объяснить, кто он такой. Всегда было что показать: паспорт, пропуск, диплом, визитку, на худой конец — лицо, которое кто-то узнает. Инженер-геодезист первой категории, с допуском, с двенадцатью годами стажа, с ипотекой и с машиной, — и всё это вместе весило здесь меньше, чем половина сушёной рыбы.

* * *

К вечеру тропа стала шире. На ней появились следы — даже Андрей их видел: отпечатки босых детских ног в грязи у ручья, свежий срез на молодой берёзе, с которой содрали кору широкой полосой, аккуратно, не кругом, а только с одного бока. Пахло дымом — не банным, не городским, а каким-то другим, густым, смолистым, с рыбным духом.

Тропа раздвоилась у старой берёзы с толстым, в трещинах, стволом. На стволе, на уровне груди, была зарубка — давняя, затянувшаяся по краям, почти сросшаяся с корой. Правая тропа шла вниз, к воде. Левая — вдоль склона, вверх.

Вараш остановился у берёзы.

Он достал из мешочка тот самый берестяной свёрток с

крошками, развернул и высыпал всё на корни у основания ствола, в развилку двух корней, где уже лежали какие-то старые, почерневшие, размокшие крошки и косточки. Высыпал аккуратно, не разбрасывая. Постоял. Сказал что-то — тихо, коротко, в ствол, так, как говорят не человеку, но и не в пустоту: как говорят соседу через забор, когда уходишь надолго. Потом свернул пустую бересту, убрал обратно — бересту он тоже не выбросил — и пошёл по правой тропе, вниз.

Он постоял над корнями. Рыбья кожа, хвостик, крошки. Вот, значит, куда. Не бедность. Вернее — не только.

Примета, подумал он. Как монетка в фонтан, как постучать по дереву. Он чуть заметно усмехнулся — по-доброму, почти растроганно — и пошёл за Варашем.

Ему не пришлось в голову спросить себя, почему человек, который собирает с колен рыбу чешую, потому что каждая крошка на счету, отдаёт эти крошки дереву.

* * *

Поселение открылось сразу, за поворотом тропы, — Андрей не успел к нему подготовиться.

Высокий берег над рекой — не ручьём, а настоящей рекой, неширокой, но спокойной и тёмной, с тихим течением и отражённым в ней вечерним небом. На берегу, на ровной площадке, отступив от края, стояли дома. Пять. Нет, шесть — шестой он заметил позже, за деревьями. Невысокие, бревенчатые, тёмные, с низкими крышами, крытыми чем-то тёмным — корой? дёрном? — и из-под крыш, не из

труб — труб не было, — сочился дым, стелился, путался в ветвях и уходил к реке. Между домами — вытоптанная земля. Жерди, на которых висело что-то — сети? шкуры? Какие-то навесы. Поленница. Ограда из жердей, за которой переминалось что-то тёмное, крупное. Внизу, у воды, на песке лежали вверх дном две длинные узкие лодки.

Залаяли собаки — сразу несколько, — и из-за домов выбежали дети, и остановились, увидев чужого. Вышли женщины. Андрей слышал их раньше, чем разглядел: тихий, мелкий, металлический звон, будто на каждой было по связке маленьких колокольчиков. Когда они подошли ближе, он увидел: подвески. На висках, на груди, на поясах — бронзовые, тусклые и ярко начищенные, кольца, пластины, какие-то фигурки, цепочки, — и всё это звенело при каждом шаге, тихо, как дождь по жести. Из-за ограды вышел старик, опираясь на палку. Из дома — мужчина с топором в руке, не поднятым, просто в руке, как держат инструмент, от которого оторвали.

Все смотрели на Андрея.

На его куртку — ярко-синюю, с серыми вставками, с блестящей молнией. На ботинки. На рюкзак. На лицо — и вот тут что-то менялось: лицо им было почти понятно. Скулы, разрез глаз, цвет кожи. Лицо было почти своё — и оттого всё остальное выглядело ещё более чужим.

Вараш вышел вперёд и заговорил.

Он говорил недолго — несколько фраз, ровным голосом,

не громко, но так, чтобы слышали все. Показал на Андрея. Показал назад, на тропу, на лес — на запад. Сказал ещё что-то, короче. Андрей уловил одно слово, которое уже слышал сегодня, когда Вараш спрашивал его про землю и про своих.

И люди изменились в лице.

Не испугались — нет. Но женщины, рассматривавшие его куртку с откровенным любопытством, вдруг перестали рассматривать куртку. Старик с палкой медленно выпрямился. Мужчина с топором переложил топориче в другую руку. Одна из женщин — немолодая, с прямой спиной, в тёмной одежде, увешанной больше других, — коротко, резко сказала что-то детям, и дети, которые только что подбирались поближе, отступили на шаг.

Куртка их удивила. То, что сказал Вараш, их встревожило.

Много позже, когда Андрей уже мог понимать такие вещи, он узнает, что именно сказал тогда Вараш. Ничего страшного. Ничего про духов, про лес, про оружие. Всего три слова, которые можно было бы перевести на русский как «человек без места». Человек ниоткуда. Не чужой — чужих здесь знали: у чужих есть свои, у чужих есть род, у чужих есть река, у чужих есть кто-то, кто за них ответит. А этот — ничей.

Тогда он этого не знал. Он стоял, поправив на плечах рюкзак на двух лямках, как научили, и пытался улыбаться, и понимал, что улыбка здесь ничего не значит.

Тишину нарушил мальчишка.

Он выскочил откуда-то сбоку, из-за крайнего дома, — лет

восьми, босой, в длинной, не по росту, рубахе, подпоясанной верёвкой, с грязными коленками и с остриженной неровно чёлкой, — и помчался прямо к Варашу, что-то радостно выкрикивая. Вараш поймал его одной рукой за плечо, прижал к боку, не глядя, как прижимают своё, привычное, — и мальчишка затих, прилипнув к нему, и только тогда посмотрел на Андрея.

Нет. Не на Андрея.

Он смотрел чуть в сторону. Мимо. За его левое плечо, на полшага назад, туда, где никого не было. Смотрел спокойно, с тем внимательным детским интересом, с каким дети смотрят на нового взрослого, пытаясь понять, строгий он или добрый.

Потом мальчик слегка наклонил голову — как кланяются старшим, коротко, вежливо, — и сказал что-то. Тихо, приветливо. Не Андрею. Тому, кто стоял у Андрея за левым плечом.

Андрей обернулся.

Тропа. Берёзы. Вечерний свет на прошлогодней траве. Никого.

Он повернулся обратно. Немолодая женщина с прямой спиной уже стояла рядом с мальчиком и держала его за плечо — крепко, так, что тот поморщился, — и говорила ему что-то тихо и зло, сквозь зубы. Мальчик опустил голову. Вараш смотрел поверх его макушки туда же, куда только что смотрел мальчик, за левое плечо Андрея, и лицо у него было

такое, будто он что-то пересчитывает.

Никто не засмеялся. Вот что Андрей запомнил лучше всего — лучше дыма, звона, лодок и собачьего лая. Никто не засмеялся, не отмахнулся, не покрутил пальцем у виска. Взрослые люди — старик, женщины, мужчина с топором — медленно перевели взгляд с Андрея на пустое место у него за спиной и обратно. И смотрели на это пустое место с той же осторожностью, с какой минуту назад смотрели на него самого.

Глава 6. Дом у воды

В дом он вошёл, ударившись головой.

Дверной проём был низкий — Андрею по подбородок, — и он, конечно, видел это, и, конечно, пригнулся, но недостаточно: верхнее бревно, тёмное, отполированное тысячами плеч, приложило его по макушке так, что в глазах вспыхнуло. Позади хмыкнул Вараш. Андрей выпрямился, потирая голову, — и тут же, не успев ничего разглядеть, закашлялся.

Дым.

Он висел под потолком плотным слоем, серый, неподвижный, как вода в стоячем пруду, и начинался примерно на уровне его глаз. Выше была только сизая мгла, в которой терялись балки. Ниже — там, где сидели люди, — воздух был почти чистый, тёплый, пахнувший горячей смолой. Андрей стоял с головой в дыму, как в мешке, и глаза у него слезились так, что он ничего не видел.

Кто-то дёрнул его за рукав — вниз. Он присел на корточки, и мир прояснился.

Дом был один — одна комната, если это можно было так назвать, — примерно пять на пять шагов, почти квадратная. Стены из толстых брёвен, уложенных друг на друга, с мхом в пазах; бревна нижних венцов были светлее, а выше, к потолку, темнели, и последние, под самой крышей, были чёрные, лоснящиеся, как будто их натёрли дёгтем. Пол — земля. Не

грязь, не голая глина, а плотная, утоптанная, почти каменная земля, местами застеленная чем-то — не то травой, не то тонкими ветками, — и чистая: её, видимо, мели. В середине, чуть ближе к дальней стене, — очаг. Невысокое кольцо из камней, обмазанных глиной, в нём — угли и огонь, не большой, не весёлый, а рабочий, ровный, как в плите. Над огнём на какой-то перекладине висел глиняный горшок, тёмный от копоти.

Трубы не было. Андрей поднял глаза — дым поднимался от очага прямо вверх, под крышу, копился там и медленно уходил куда-то в угол, в щель под самым коньком, где сквозь сизое светлело вечернее небо. Вся эта постройка — стены, крыша, щель, — сообразил он, устроена так, чтобы дым сначала отдал тепло, а потом ушёл. Сначала грей, потом уходи. Как и всё здесь, наверное.

Вдоль двух стен шли широкие дощатые настилы, приподнятые над землёй на локоть — не лавки, а целые полки, по которым можно было лежать вдоль и поперёк. На них — шкуры, свёрнутые, сложенные, развёрнутые; какие-то тканые покрывала, серые и бурые; кожаные мешки. Под настилами — ещё что-то: корзины, сосуды, связки. С балок, из дыма, свисали пучки — травы, какие-то корешки, связка сушёной рыбы, мешки, подвязанные высоко, так, что Андрей понял зачем, как только из-под настила выскочила и шмыгнула вдоль стены мышь.

Окно было одно — маленькое, квадратное, в ладонь, про-

резанное в бревне у самого очага, — и закрыто изнутри досечкой. Свет давал только огонь.

Андрей сидел на корточках у двери, у самого порога, и смотрел. Он приготовился увидеть убогую хижину — лачугу, землянку, что там показывают в документальных фильмах про древних людей, — и увидел дом. Тесный, тёмный, дымный — но дом, в котором каждая вещь стояла на своём месте, и у каждого места была причина. * * *

Его накормили почти сразу. Это было первое, что сделали, — раньше, чем спросили хоть о чём-то.

Немолодая женщина с прямой спиной — та, что одёрнула мальчика, — сняла горшок с огня двумя палками и разлила по деревянным мискам что-то густое, серое, парящее. Андрей видел, как она делала это: сначала, прежде чем налить кому-либо, опустила деревянную ложку в горшок, зачерпнула чуть-чуть и стряхнула в огонь, в угли. Угли зашипели. Женщина что-то тихо сказала, почти беззвучно, одними губами, и только потом стала раскладывать. Андрей решил, что она пробует, не пригорело ли. Или проверяет, горячо ли. Он не придал этому значения.

Первая миска — самая полная — досталась ему.

Он заметил это не сразу, а когда увидел, сколько досталось остальным. Вараш — меньше. Мальчишка — ещё меньше. Девочка лет четырнадцати, тихая, большеглазая, которая всё время держалась у стены и которую Андрей сначала не заметил, — чуть на донышке. Себе женщина не налила ниче-

го. Потом, когда все получили, она вытерла горшок изнутри куском лепёшки и съела этот кусок.

Андрей смотрел в свою миску. Каша. Серая, густая, из какой-то крупы, мелкой, разварившейся, — и в ней кусочки той же тёмной сушёной рыбы, что они ели в лесу, и какие-то зелёные листья, мягкие, варёные, с горьковатым травяным вкусом. Он зачерпнул деревянной ложкой — ложка была широкая, неглубокая, с коротким черенком, и есть ею было неудобно, — и попробовал.

Пресно. Совсем. Ни соли, ни масла, ни сахара — ничего. Дым, крупа, рыба и зелень. Он проглотил, зачерпнул снова, и снова проглотил, и его тело, которое не ело толком со вчерашнего утра, сказала ему, что это лучшее, что оно ело в жизни, а язык одновременно сказал, что это невозможно есть. Он подумал: соли бы. Щепотку. Он бы отдал за щепотку соли... Он посмотрел на свою миску, на миски остальных, и вдруг, неожиданно для себя, подумал иначе.

Весна. Вараш днём делил рыбу пополам, примериваясь. Крупы в горшке было немного — это было видно по тому, как женщина скребла дно. Зелень — вон она, свежая, наверное, собранная сегодня, потому что старого уже не хватает. Рыба — прошлогодняя. Каждая ложка в этой миске была чьим-то трудом: кто-то эту крупу вырастил, сжал, высушил, сохранил от мышей через всю зиму; кто-то эту рыбу поймал, выпотрошил, прокоптил, сберёг; кто-то нарвал эту зелень утром на холодном берегу. И всё это — лучшее из

этого — положили в его миску, потому что он гость, чужой, непонятный, и этого непонятного надо было сначала накормить.

Он доел всё. До последней крупинки. Облизал ложку — и поймал на себе взгляд женщины: не одобрителный и не насмешливый, а внимательный. Она смотрела, как он ест, так, как смотрит хозяйка на человека, которому отдала последнее, — ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, кого она кормит.

Потом Вараш полез в свой мешочек, достал лист, развернул и протянул мальчишке остаток батончика — ту самую половину половины.

Мальчишка взял, посмотрел, понюхал — точь-в-точь как Вараш днём, — откусил. И замер. И глаза у него стали такие, что Андрей вдруг рассмеялся, впервые за два дня, — коротко, неожиданно для себя. Мальчишка посмотрел на него с подозрением, потом на Вараша, потом снова на кусочек и начал есть его с такой медленной, сосредоточенной, почти молитвенной осторожностью, с какой в детстве Андрей ел первое мороженое за лето. Когда он доел, он облизал пальцы. А потом лист. А потом снова пальцы.

* * *

После еды его стали разглядывать.

Разглядывали по-настоящему, как он сам разглядывал бы незнакомый прибор, попавший к нему на стол. Женщина с прямой спиной, девочка, ещё две женщины, зашедшие из со-

седнего дома, старик с палкой — сели вокруг, близко, и некоторое время просто смотрели. Потом одна из соседок, полная, с широким добродушным лицом, протянула руку и потрогала рукав его куртки. Потёрла ткань между пальцами. Сказала что-то. Другие потрогали тоже.

Ткань их удивила — гладкая, скользкая, чуть шуршащая, не похожая ни на шерсть, ни на кожу, ни на лён. Одна из женщин плюнула на палец и потёрла рукав, и когда вода скапывала по мембране каплей, не впитавшись, — все переглянулись.

Но настоящее внимание досталось молнии.

Андрей и не думал её показывать. Просто ему стало жарко у огня, и он расстегнул куртку — дёрнул собачку вниз, и молния разошлась с тихим сухим треском. Полная соседка ахнула. Андрей застегнул обратно — показать. Треск, и две половины сомкнулись, как не было. Расстегнул. Застегнул.

Через пять минут куртка лежала на коленях у старика, и тот, сосредоточенно шевеля губами, застёгивал и расстёгивал молнию, раз за разом, медленно, поднося к глазам, разглядывая, как крошечные зубцы входят один в другой. Женщины заглядывали ему через плечо. Девочка у стены вытянула шею. Старик что-то сказал — одобрительно, с каким-то профессиональным уважением, будто оценил хорошую работу, — и показал всем, как зубцы с одной стороны заходят между зубцами другой. Потом что-то спросил у Андрея.

— Не знаю, — сказал Андрей. — Правда не знаю. Их де-

лают на заводе. Машина делает.

Старик понял из этого только, что ответа не будет, и вернулся к молнии.

Бутылка — пустая пластиковая бутылка из-под воды, которую Андрей зачем-то вытащил из кармана рюкзака, — произвела другое впечатление, почти большее. Женщина с прямой спиной взяла её, повертела, посмотрела сквозь неё на огонь. Постучала по ней ногтем. Сжала — бутылка хрустнула, помялась — и расправилась, когда она отпустила. Женщина нахмурилась. Налила в неё воды из деревянного ковша. Вода стояла внутри, видная насквозь, и не текла. Женщина вылила, налила снова. Потом бросила пустую бутылку на пол — не сильно, проверяя, — и бутылка отскочила и покатилась. Не разбилась.

Женщина подняла её и долго держала в руках, и лицо у неё было такое, какое бывает у хорошей хозяйки, которой показали лёгкий, прозрачный, небьющийся сосуд, в котором можно носить воду. Андрей вспомнил, сколько таких бутылок он выбросил в жизни. Тысячу? Больше?

Телефон он не доставал. Он лежал во внутреннем кармане, и Андрей берёг его — не от них, от себя: каждый раз, когда хотелось посмотреть время, он вспоминал про пауэрбанк с тремя лампочками из четырёх. Когда мальчишка, который лез всюду, нащупал через ткань что-то твёрдое и потянул, Андрей вытащил телефон, не включая, и показал: чёрный плоский прямоугольник, гладкий, холодный. Мальчиш-

ка потрогал экран, увидел в нём своё отражение, скорчил ро-
жу, потерял интерес и вернулся к молнии.

* * *

Он полез за бумажником, когда понял, сколько ему дали.
Это было неловко, но он не знал, что ещё сделать. Его на-
кормили последним, ему отдали полную миску, ему, кажется,
собирались дать место для ночлега — а он сидел на чужом
полу без своей куртки, которую старик всё ещё не хотел
отдавать, и ничем не мог заплатить. Мысль, что за всё надо
платить, была в нём так глубоко, что он даже не думал её как
мысль. Он достал бумажник — ещё влажный после ночи, —
вынул все бумажки, две тысячи сто рублей, и протянул женщи-
не с прямой спиной.

Женщина посмотрела на бумажки. Взяла одну — сотню,
с колоннами какого-то театра, — и повертела. Поднесла к
огню, чтобы разглядеть. Пощупала бумагу. Показала сосед-
ке. Соседка тоже пощупала и что-то сказала, пожав плечами.
Мальчишка выхватил у неё пятисотку, повертел, посмотрел
на просвет, на какой-то водяной знак, который проявился в
свете огня, — и захохотал, тыча пальцем.

Женщина отобрала у него бумажку, сложила все обратно
стопкой — аккуратно, уголок к уголку — и вернула Андрею.
Не отказалась, не оттолкнула. Просто вернула, как возвраща-
ют гостю вещь, которую он по ошибке оставил на столе.

Андрей держал две тысячи сто рублей и понимал, что это
бумага. Её нельзя было съесть, ею нельзя было согреться, в

неё нельзя было налить воду. Вся её сила жила в другом месте — в банках, в законах, в том, что миллионы людей договорились верить этим картинкам. Здесь никто ни о чём не договаривался. Здесь пустая пластиковая бутылка стоила больше, чем вся его зарплата.

Он убрал деньги в бумажник, а бумажник — на самое дно рюкзака.

* * *

Потом он попытался помочь, и это было хуже денег.

Огонь в очаге начал ослабевать, и девочка у стены поднялась, чтобы принести дров. Андрей вскочил — не до конца, помня о дыме, полусогнувшись, — и жестами показал: давай я. Девочка испуганно посмотрела на мать. Женщина с прямой спиной, помедлив, кивнула в сторону двери.

За дверью, под навесом, лежала поленница и колода, и в колоду был воткнут топор. Андрей взялся за топориче — и почти уважительно поднял его. Топор был небольшой, лёгкий, с узким лезвием и с проушиной, куда было загнано топориче, отполированное руками до блеска. Лезвие было тёмным и острым. Андрей положил на колоду полено и ударил.

Топор отскочил, вывернулся в руке, и лезвие скользнуло по краю полена и тукнуло в колоду вбок, наискось, так что брызнула щепка. Андрей ударил снова — по центру. Топор вошёл и застрял. Андрей поднял полено вместе с топором и начал бить им по колоде, как видел в каком-то кино, —

полено треснуло пополам. Он расколол половинку ещё раз, и ещё, и через несколько минут, потный, довольный, принёс в дом охапку толстых, в руку, чурок.

Девочка посмотрела на его охапку. Потом вышла, вернулась с другой — с горстью тонких, как пальцы, лучин и с несколькими полешками поменьше, — и положила их у очага. Его чурки женщина молча отодвинула в угол, к стене. До Андрея дошло, только когда девочка стала подкладывать: не бросала в огонь, а ставила — по одной лучинке, по одной полешке, туда, где пламя просило, — и огонь не вспыхивал, не ревел, не дымил, а просто продолжал гореть, ровно, так же, как до этого. Ему не нужно было много. Ему нужно было вовремя и понемногу. А толстые чурки Андрея горели бы полночи, чадили и съели бы за раз столько, сколько эта девочка скормит огню за три дня.

Он снял мокрые носки, которые всё ещё были на нём, и, не спрашивая, пристроил их на камнях очага — сушиться. Женщина с прямой спиной, не говоря ни слова, двумя пальцами сняла их с горячих камней, где от них уже начинал идти пар с запахом жжёной шерсти, и повесила на жердь у стены, сбоку от огня, не над ним, а чуть поодаль, где было тепло, но не горячо и куда не капало на горшок. Андрей покраснел.

Когда стали подвязывать на ночь какой-то мешок к балке, ему дали конец верёвки — подержать. Верёвка была толстая, скрученная из чего-то волокнистого, грубого, и кончик у неё разлохматился, распустился на пряди. Андрей, пока держал,

машинально оторвал разлохмаченный кончик, скатал его в пальцах и бросил в сторону, к порогу.

Через минуту он заметил, что мальчишка — тот самый, что утащил пятисотку, — подполз к порогу, подобрал этот обрывок, расправил на колене, осмотрел, как сокровище, и спрятал за пазуху, туда, где под рубахой у него, похоже, было ещё много всего.

Никто ничего Андрею не сказал. И от этого было ещё стыднее.

Он сел на своё место у двери и решил больше ничего не трогать. Два часа в этом доме — и ни одного дела правильно: расколоть полено, повесить носки, подкинуть в огонь, заплатить за еду, сесть там, где не мешать.

* * *

Он пришёл, когда совсем стемнело.

Собаки снаружи залаяли и сразу стихли, будто кто-то их окликнул. В дверь, пригнувшись — ровно настолько, насколько было нужно, не больше, — вошёл человек, и все, кто сидел, чуть подобрались. Не вскочили, не поклонились. Просто подобрались, как подбирается класс, когда входит учитель, которого не боятся, но уважают.

Ему было лет пятьдесят пять. Высокий, прямой, худой, с длинным костистым лицом, на котором всё было резко: нос, скулы, складки у рта, брови — густые, тяжёлые, нависшие над глазами. Волосы — совершенно седые, длинные, убранные назад, и такая же седая короткая борода. Одет он был

не богаче других — та же длинная рубаха, тот же пояс, — но ткань была лучше, темнее, ровнее, и пояс шире, и на поясе металла было больше, и висел он как-то иначе — не для красоты, а как знак, который не надо объяснять.

Он сел у огня, напротив Андрея. Женщина с прямой спиной подала ему миску — он взял, но есть не стал. Поставил рядом.

И посмотрел на Андрея.

Андрей потом долго пытался понять, что было в этом взгляде, и понял не скоро. Этот человек не смотрел на куртку, которая всё ещё лежала у старика на коленях. Не смотрел на ботинки, на рюкзак, на бутылку в руках у хозяйки. Все сегодня смотрели на его вещи — этот смотрел только на него. Как смотрят на пятно на ткани, которого там не должно быть и которое непонятно откуда взялось, — не с отвращением, а с тревогой: откуда? что пролилось? что под ним?

Вараш заговорил с ним. Долго — дольше, чем говорил с кем-либо за весь день. Андрей следил за его руками: вот Вараш показал на запад; вот сделал движение, словно разматывает что-то, — лента, понял Андрей, — и показал куда-то, дальше; вот, кажется, изобразил липы — широко развёл руки, округло, как обхват ствола. На этом месте седой человек перебил его одним словом. Вараш кивнул, повторил то же слово и замолчал.

Седой протянул руку к огню — поправить выкатившийся уголёк, привычным движением, голой рукой, быстро, как

делают это люди, всю жизнь прожившие у очага. Рукав его рубахи съехал к локтю. И Андрей увидел ожог.

Старый, давно заживший, — от запястья почти до локтя, по внутренней стороне руки. Кожа там была другая: гладкая, блестящая, натянутая, светлее остальной, как будто её когда-то расплавили и она застыла заново. По краям — рваная кайма, неровные бугры. Большой ожог. Такой, от которого можно и умереть, если не повезёт. Андрей смотрел на него секунду, не больше, — и седой, будто почувствовав, поправил уголёк, отнял руку от огня и спокойным, неспешным движением одёрнул рукав. До запястья. Не пряча — просто так, как одёргивают, когда рукав съехал. И только взгляд, которым он скользнул по Андрею, сказал, что он заметил, куда тот смотрел.

* * *

Потом седой стал спрашивать.

Не сам — через Вараша. Он говорил Варашу короткую фразу, и Вараш переводил её Андрею жестами и теми немногими словами, в которых они с Андреем за день научились сходиться. Это было медленно, мучительно и похоже на игру в шарады, в которой ставки были непонятно какие, но все вокруг понимали, что высокие.

— Ава, — сказал седой.

Вараш повернулся к Андрею и сделал тот жест, который Андрей показал ему днём: ладонь плашмя, к земле. Твоя мать умерла?

— Да, — сказал Андрей. И кивнул, на всякий случай.

Седой сказал ещё что-то. Вараш показал на землю — ткнул пальцем в пол у очага, — потом развёл руками, охватив всё вокруг, и вопросительно поднял брови.

Где?

Слов Андрей не понял, но вопрос дошёл до него так ясно, как если бы его задали по-русски: где она лежит?

— В Йошкар-Оле, — сказал он. — На кладбище. — Он показал рукой на запад, неопределённо. — Далеко.

Седой выслушал и сказал:

— Кова.

— Кожлаял, — сказал Андрей и показал туда же, на запад, чуть в сторону. — Там.

Седой помолчал. Потом сказал слово, которое Андрей уже слышал сегодня, — «ача», — и Вараш снова изобразил жест вопроса: где?

Отец жив, хотел сказать Андрей, и не сказал, потому что жест Вараша спрашивал не только про отца. Седой смотрел на него, и Андрей вдруг понял, о чём его на самом деле спрашивают. Не где его отец — Вараш уже знал, что Андрей не знает, где его отец, и, видимо, сказал это. Его спрашивали: где лежат твои? Где они все? Где то место, где твои старшие лежат вместе, рядом друг с другом, — то место, куда ляжешь потом и ты?

И Андрей начал считать — и остановился на третьем.

Мама — в городе, на кладбище за объездной, на новом

участке, где хоронят с двухтысячных, — он был там... когда? Четыре года назад? Пять? Бабушка — в Кожлаяле, на деревенском кладбище за клубом, под берёзами; он был там один раз — в день похорон. Дед, бабушкин муж, — умер задолго до его рождения; Андрей не знал, где он похоронен. Никогда не спрашивал. Может быть, там же, в Кожлаяле. Может быть, нет. Прадед — вот тот, с фотографии в бабушкином доме, в гимнастёрке, со звёздочкой на пилотке, — пропал без вести в сорок третьем, и бабушка всю жизнь не знала, где он лежит, и никто не знал. Отец — жив, где-то. Сам Андрей — в девятиэтажке на Строителей, на седьмом этаже, один, в однокомнатной, с ипотекой на пятнадцать лет. Когда-нибудь его положат... куда? Куда-нибудь. Где будет место.

Его мёртвые были рассыпаны, как горох из порванного мешка. По городам, по деревням, по полям под Курском или где там лежал прадед. И ни одного места, про которое он мог бы сказать: вот здесь мои.

Он попытался объяснить. Показал на себя. Показал один палец — один. Изобразил руками что-то вроде коробки — дом, квартира. Показал далеко. Сказал:

— Я живу отдельно.

И слышал себя.

Он сказал это по-русски, никто здесь не понимал ни слова, — но он слышал, как это прозвучало. Не в этой комнате — внутри себя. Я живу отдельно. Всю жизнь эта фраза значила для него простые, нормальные, даже хорошие вещи: я взрос-

лый, я сам зарабатываю, у меня своя квартира, я ни от кого не завишу. А здесь, в дымном доме, где на одном земляном полу спали мать, сын, внук, дочь и ещё неизвестно кто, где последнюю кашу клали в миску чужаку, где мальчишка подбирал оторванную Андреем верёвочку, потому что в хозяйстве пригодится, — здесь эта фраза, переведённая на язык жестов, значила совсем другое.

Я один. Мои мёртвые не знаю где. Я не знаю, где мне лежать. Я не знаю, кто за меня ответит.

Я не знаю, кто я.

Седой смотрел на него долго. Потом что-то сказал — негромко, Варашу, — и Вараш кивнул. Потом седой поднялся — так же прямо, как сел, — и уже у двери, пригибаясь, обернулся и посмотрел на Андрея ещё раз. Не на лицо. Чуть в сторону, за левое плечо. Туда, куда днём смотрел мальчик. И вышел.

Андрею показали место — у двери, на краю настила, у самого порога, где тянуло холодом из-под двери и откуда было дальше всего до огня. Дали шкуру — старую, вытертую, пахнущую дымом и зверем. Он лёг на неё в куртке, которую старик вернул только перед сном — с явным сожалением, — и долго лежал в темноте, в чужом дыхании нескольких людей, в треске углей, в шорохе мыши под настилом, и смотрел вверх, туда, где в дыму под коньком ещё светлела щель.

Он всегда считал себя самостоятельным человеком и гордился этим. А сегодня вечером семилетний мальчишка, по-

добравший его верёвочку, был в этом доме самостоятельнее.

Глава 7. Железо дороже телефона

Утром Вараш делал стрелы, и Андрей, которому снова было нечего делать, сел рядом и стал считать.

Это получилось само: привычка к счёту сидела в нём глубже, чем привычка к вежливости. Вараш устроился на бревне у стены дома, на солнце, разложил перед собой на куске кожи прямые, светлые, заранее высушенные прутья, пучок серых перьев, моток тонких жил или ниток, какие-то накопечники — три железных, тёмных, и несколько костяных, — и взялся за нож. И нож с этой минуты не выпускал из рук почти ни разу.

Им он строгал прут — длинными ровными движениями, снимая стружку тоньше бумаги, пока прут не становился идеально гладким. Им он выбирал на одном конце выемку под тетиву. Им расщеплял на другом конце щель под накопечник. Им резал перо пополам — вдоль стержня, одним точным касанием. Им подрезал перо по длине. Им отсекал нитку. Им соскабливал лишнее. Им подправлял выемку, которая вышла чуть кривой. Андрей начал загибать пальцы на пятнадцатом движении, сбился на сорок каком-то, начал заново и к тому времени, как первая стрела была готова, насчитал больше сотни.

Сотня касаний ножом на одну стрелу. А стрел Вараш собирался сделать, судя по пруткам, штук десять.

Андрей попробовал представить, что этот нож сломался. Не пропал — просто сломался: ударился о камень, выщербился, треснул. Что тогда? Взять другой. А если другого нет? Он огляделся — и понял, что не знает, сколько ножей в этом доме. Два? Три? Каждый — на поясе у кого-то. Лишнего ножа, который лежал бы в ящике на всякий случай, как у него на кухне лежали четыре, из которых он пользовался одним, — такого ножа здесь, наверное, не было.

Вараш, будто услышав его мысль, отложил стрелу, развязал на поясе мешочек и достал оттуда что-то, завёрнутое в кусок кожи. Развернул. Внутри лежал обломок ножа — лезвие без рукояти, сломанное посередине, тёмное, с рыжими пятнами. Вараш показал его Андрею, потом показал на реку, вниз по течению, далеко, — махнул рукой несколько раз, как будто отсчитывал дни пути, — потом сделал движение, будто бьёт молотом по чему-то на наковальне. Потом снова завернул обломок и убрал обратно в мешочек, к мху.

Сломанное не выбрасывают. Сломанное везут туда, где есть человек, который умеет бить по железу. Дни пути вниз по реке. А пока носят с собой, как носят деньги.

Он посмотрел на нож в руке Вараша — на его лезвие, узкое, чуть изогнутое, стёртое точилом так, что обух стал почти вровень с лезвием. Этот нож точили годами. Может быть, десятилетиями. Может быть, это был ещё не Варашев нож. Андрей хотел спросить — и не знал как.

* * *

Короб с ломом он увидел в середине дня.

Хозяйка — теперь Андрей уже знал, что её зовут Увий, — чинила пояс. Старый, широкий, из толстой кожи, с которого оторвалась пряжка, — не пряжка даже, а простая петля с бронзовой застёжкой. Увий сидела у порога, на свету, и перед ней стоял берестяной короб, а в коробе — Андрей заглянул и на секунду замер — было всё. Всё, что в его жизни называлось бы мусором.

Обрезки кожи — узкие, широкие, кривые, в палец и в ладонь. Мотки ниток, связанные вместе обрывки верёвок, пряди чего-то волокнистого. Обломок гребня из кости. Кусок медной или бронзовой пластины, согнутой пополам. Несколько маленьких металлических колечек, одно — сплющенное. Крошечные бронзовые заклёпки, штук пять или шесть, со следами от чего-то, откуда их вынули. Черепок от горшка с острым краем. Кусочек смолы. Шило — костяное. Ещё одно шило — железное, тоньше и острее, и его Увий, взяв, сразу положила не обратно в короб, а рядом с собой, отдельно, на чистое место.

Андрей смотрел, как она работает. Она перебрала обрезки, выбрала один, приложила к поясу, покачала головой, выбрала другой. Прорезала им отверстия — тем самым черепком, — провертела шилом. Нашла в коробе заклёпку, осмотрела, вытащила другую, осмотрела, выбрала первую. Поставила. Ударил камешком. Проверила — держит. Отложила пояс. Остаток обрезка, в палец длиной, вернула в короб.

Андрей вспомнил деда своего друга Лёшки, к которому ходил в гости в детстве, — у того в гараже стояли банки из-под кофе, набитые гайками, шайбами, гвоздями, обрезками проволоки, и дед мог полчаса искать там нужный винтик, вместо того чтобы сходить в магазин, и Андрей тогда думал, что это смешно. Дед Лёшки пережил войну и голод. Всю жизнь потом он ничего не выбрасывал.

Здесь каждый обрезок кожи был чьей-то убитой коровой, выделанной шкурой, неделями работы, а каждая бронзовая заклёпка пришла издалека через много рук, и заменить её было нечем. Этот короб был не мусором. Это был склад на случай, если что-то сломается.

Пире, мальчишка — его звали Пире, это Андрей тоже уже знал, — сидел рядом с бабкой, по-хозяйски заглядывал в короб и что-то туда добавил. Андрей увидел, что. Тот самый обрывок верёвки, который вчера вечером Андрей оторвал и бросил к порогу.

* * *

Мультитул он достал, чтобы подрезать ноготь, сорванный накануне о полено.

Инструмент щёлкнул, раскрываясь, и у Андрея в руках на секунду оказались пассатижи — а потом, когда он сложил их и выщелкнул лезвие, — нож. Он подрезал ноготь и поднял глаза.

Вокруг было тихо. Вараш смотрел на мультитул, не мигая. Старик с палкой, тот самый, что вчера не мог оторваться от

молнии, остановился на полпути через двор. Пире подполз ближе на четвереньках. Даже Увий подняла голову от пояса.

Андрей медленно раскрыл инструмент заново — на этот раз показывая. Пассатижи. Нож. Маленькая пилка. Отвёртка. Ещё отвёртка. Шило. Открывалка для бутылок, в которой не было здесь никакого смысла. Он раскрывал и складывал каждую часть, и они смотрели. Не так, как вчера на молнию, — с восторгом. А так, как смотрят мастера на работу, которой не могут повторить: внимательно, почти хмуро.

Вараш протянул руку. Не взял — протянул ладонь и остановил в воздухе, вопросительно. Андрей положил мультитул ему в ладонь.

Вараш взвесил его. Раскрыл нож — не сразу, пальцы не знали, где упор, но разобрались. Осмотрел лезвие. Попробовал ногтем. Потом выдернул у себя из бороды волосок и провёл по нему лезвием — волосок распался. Вараш посмотрел на лезвие ещё раз, потом на свой нож, сточенный до узкой полоски, потом снова на мультитул. Сказал что-то Андрею — вопрос, длинный, с каким-то словом, которое повторил дважды и показал при этом на лезвие, а потом на реку, вниз. Андрей понял только, что речь опять о том, кто делает железо. Кто делал вот это? Где? Далеко?

— Завод, — сказал Андрей, как вчера про молнию. — Китай. Далеко.

Вараш не понял, но кивнул, как кивают, когда ответ и не ожидался. Сложил нож — щёлкнул, осторожно, чтобы не

прищемить палец, — и вернул. Старик с палкой протянул руку следующим. Андрей отдал ему.

Телефон вытащил Пире. Опять. Андрей не успел его остановить: мальчишка нащупал его в кармане куртки, висевшей на жерди, — теперь это был его любимый предмет для охоты — и уже держал в руках, разглядывая своё отражение в чёрном стекле. Кто-то из соседских детей подбежал, заглянул тоже. Они покрутили его, постучали по нему пальцем, будто проверяя, пустой ли он внутри, приложили к уху, как раковину. Сказали какое-то слово — Андрей потом понял какое: так здесь называли гладкие речные камни, из тех, что дети собирают на отмели. Потом положили телефон на бревно и убежали. Старик с мультитулом в руках даже не повернул головы.

Андрей подобрал телефон. Самая дорогая вещь, что у него была с собой: восемьдесят тысяч, в кредит, камера, которая могла снять пятнышко на Луне. Гладкий камень. А нож с пассатижами из строительного магазина за три тысячи был здесь сокровищем.

* * *

К вечеру он попытался быть полезным ещё раз, и на этот раз у него почти получилось.

На краю двора, ближе к реке, стояла сушиллка для рыбы — сейчас почти пустая, — две пары жердей, вкопанных в землю и связанных поверху перекладиной, на которую вешали тонкие жерди поперёк. Одна пара стояла ровно, а вто-

рая шаталась: стоило налечь на перекладину, она кренилась и ходила, как пьяная. Изиви — девочка, дочь Увий, тихая, большеглазая, — пыталась развесить на неё что-то мокрое, и перекладина каждый раз наклонялась, и мокрое сползало.

Андрей подошёл, посмотрел. Потрогал. Понял сразу, как понимал это на любой стройке: четырёхугольник. Две стойки, перекладина — прямоугольник, связанный на углах, а прямоугольник не держит форму, его можно сложить, как коробку. Треугольник держит. Треугольник — единственная жёсткая фигура, это знал любой первокурсник, это была половина его профессии: вся геодезия держалась на треугольниках.

Он нашёл в стороне у поленницы длинную жердь, приложил её наискось — от верха одной стойки к низу другой, — показал Изиви: вот так. Она посмотрела на него с сомнением, но принесла верёвку.

И тут он споткнулся.

Он привязал жердь к стойке — обычным узлом, каким завязывал бы что угодно: пакет, шнурок, трос на крыше машины. Затянул. Налёг на перекладину — сушилка качнулась, узел проскользнул по гладкой коре, и жердь съехала вниз, как ни в чём не бывало. Он перевязал ту же. Съехала опять. Верёвка была не та, к которой он привык — жёсткая, волокнистая, она не затягивалась намертво, а пружинила. Кора на жерди была скользкая. Узел, который держал бы синтетический шнур, здесь не держал ничего.

Подошёл Вараш — он, оказывается, давно наблюдал от дома. Ничего не сказал. Развязал Андреев узел, снял верёвку, откуда-то из-за пояса вытащил полосу луба — мягкую, влажную, — и начал сначала. Сделал на стойке зарубку ножом, неглубокую, — чтобы жердь упёрлась. Положил жердь в зарубку. Обмотал лубом крест-накрест — не одним узлом, а несколькими витками в разные стороны, — и затянул так, что луб, подсыхая, будет садиться всё туже. То же сделал сверху.

Андрей налёг на перекладину. Сушилка не шелохнулась.

Вараш посмотрел на жердь — наискось, от верха к низу. Посмотрел на Андрея. Сказал что-то, коротко, с одобрением — Андрей не понял слов, но понял тон: неплохо придумано. Потом ткнул пальцем в зарубку и в луб — и тон стал другой. Мол: а вот это — не твоё.

* * *

Вечером, при свете очага, он сел у двери на своё место и достал блокнот.

Он писал долго. Сначала — слова. Весь день он ловил их, как ловят мух: вода, огонь, рука, мать, отец, дом, рыба, нож, камень-телефон, «нет», «да» — вернее, то, что здесь было вместо «да», короткий звук горлом, — «иди», «сядь», «дай». Пире помогал охотно, как помогают играть: тыкал пальцем в предметы и выкрикивал слова, и смеялся, когда Андрей пытался повторить. Андрей записывал русскими буквами, как слышал, со своими значками — ударение, долгий звук, звук

горлом, которому в русском не было буквы. Получилось сорок три слова. Из них семь были похожи на бабушкины. Он обвёл эти семь в кружок.

Потом — схему. Река. Высокий берег. Шесть домов — он нарисовал их квадратами, с номерами. Дом Увий — номер три. Ограда для скота. Сушилка — с треугольником, он не удержался и пририсовал диагональ. Навес с поленницей. Лодки на песке. Тропа наверх — к развилке с берёзой. Направление на запад — туда, где липы. Он поставил на схеме стрелку севера, масштаб в шагах. Схема вышла кривая, без привязки, без координат — не карта, а рисунок. Но это было первое место на свете, которое он мог нарисовать по памяти.

И этого места не было ни на одной карте, которую он знал.

Он долго смотрел на рисунок. Потом отложил карандаш и сделал то, что откладывал три дня: честно, по пунктам, как в отчёте, перебрал объяснения.

Реконструкторы. Клуб исторической реконструкции, фестиваль, какая-нибудь этнодеревня для туристов. Он видел такие — с парковкой за углом, с биотуалетом за частоколом, с девушкой в льняном платье, которая в перерывах листает телефон. Нет. Здесь не было перерывов. Здесь были дети, которые родились в этом и не знали другого. Здесь были руки — руки Увий, Вараша, старика с палкой, — таких рук не бывает у людей, играющих в прошлое по выходным. Здесь не было ни одного гвоздя. Ни одного стекла. Ни одного пластикового хомута, ни одной синтетической нитки, ни одной ве-

щи с завода — он смотрел весь день, глаз цеплялся сам, как в лесу. Никакая реконструкция не выдерживает так долго.

Глухая община. Скрытники, староверы, секта, ушедшая в лес в девяностые, — он читал про такие, в Сибири, в Коми. Но скрытники говорят по-русски. Здесь никто не знал ни одного русского слова — даже «хлеб», даже «нет», даже матерного, которое знают все и везде. Здесь не знали, что такое деньги. В двадцать шестом году, посреди России, в полусотне километров от Йошкар-Олы, не могло быть людей, ни разу не видевших денег.

Болезнь. Инсульт, опухоль, бред. Он лежит где-нибудь в канаве у Кожлаяла или в реанимации, и всё это — внутри. Но бред не бывает таким подробным. Бред не пахнет рыбой и дымом. В бреду не натирают пятку. И в бреду — он был почти уверен — не учат сорок три слова, семь из которых похожи на бабушкины.

Оставалось четвёртое. Он знал какое. Оно лежало где-то с самого первого вечера — с тишины без трассы, с просеки, которой не было, с леса без пней, — лежало, как незакрытый файл на рабочем столе, который не открываешь, потому что знаешь, что в нём.

Он не открыл его и сейчас. Он просто отметил для себя, что три объяснения из четырёх вычеркнуты. На один вечер этого было достаточно.

Потом он перевернул страницу назад — туда, где вчера, на ходу, спотыкаясь, записал столбиком шаги и азимуты обхода

вокруг лип.

Он построил этот ход на чистой странице — как строил сотни ходов на объектах: точка, азимут, расстояние, следующая точка. Получилась дуга. Большая, плавная, неровная кривая, огибающая пустое место справа.

И тогда он включил телефон.

Экран засветился, резанул глаза. Шестьдесят два процента — он не выключал его с того вечера у ручья, и все эти дни телефон в кармане искал сеть, которой не было, и тихо ел сам себя. «Нет сети». Он открыл приложение с треком, пока Пире, сразу же подползший, заглядывал ему через плечо, раскрыв рот на светящийся камень. Трек был на месте. Синяя линия — от упавшей липы, вокруг корней, по дуге, до места, где оборвалась. Двадцать метров, может быть, тридцать.

Он приложил блокнот к экрану.

Масштаб был разный — в десять раз, не меньше: там, у Кожлаяла, он обходил вывороченные корни одного дерева, а здесь, вчера, — весь лес лип. Но форма... Форма была та же. Не просто дуга — дуга бывает любая. А вот эта: пологий, почти прямой заход в начале, потом плавный поворот, чуть сильнее к середине, и небольшая выпуклость наружу — там, у Кожлаяла, он огибал яму от корней, здесь, вчера, Вараш зачем-то взял на несколько шагов левее, — и снова ровно, по кругу. Как одна и та же подпись, сделанная один раз мелко, а другой раз крупно.

Он смотрел на это долго.

Потом сказал себе то, что сказал бы любой нормальный человек. Рельеф. Здесь, видимо, какие-то древние валы, гривки, остатки городища, и они повторяют сами себя в разных масштабах — такое бывает, природа любит повторения. Вараш шёл по сухому краю, как и он сам тогда, у Кожлаяла, шёл по сухому, — вот и всё. Вода и земля рисуют одни и те же кривые, какой бы масштаб ни взять. Это было научное объяснение, и он в него почти поверил.

Он посмотрел на процент заряда. Шестьдесят один. Пауэрбанк — три лампочки из четырёх.

И выключил телефон.

Не заблокировал, не перевёл в режим полёта — выключил совсем, зажав кнопку, пока экран не погас и не стал снова камнем с отражением. Пире разочарованно вздохнул. Андрей завернул телефон в обёртку от батончика — ту самую, подобранную в кустах, — и убрал на дно рюкзака, к бумажнику.

Всю жизнь телефон был первым, что он брал в руки утром, и последним, что откладывал вечером. Двадцать лет. Работа, Надя, карты, банк, фотографии, будильник, новости, музыка.

Но здесь ничего этого не было. Здесь был заряд — девяносто процентов, три лампочки из четырёх, — и этот заряд был не бесконечным, как вода из крана, а таким же конечным, как крупа в горшке у Увий. Если он хочет, чтобы телефон когда-нибудь пригодился, — по-настоящему пригодил-

ся, для чего-то, чего он пока не знает, — его нельзя тратить на то, чтобы смотреть, который час. Который час, показывали часы на руке.

Он лёг на свою шкуру у двери. Пире, устроившийся рядом с бабкой, всё ещё поглядывал на его рюкзак, где исчез светящийся камень.

Андрей подумал, что сегодня впервые в жизни что-то сбег. Не потому, что ему велели, а потому, что сам понял: запас конечен. И подумал, что это, наверное, должно было случиться с ним намного раньше.

Глава 8. Ночь, которая другая

С утра всё было как всегда, а после полудня — нет.

Андрей не сразу понял, что изменилось. Люди делали то же, что вчера: Увий возилась у очага, Изиви носила воду, старик с палкой — его звали, как выяснилось, Лапкас, и мультитул он вернул только к обеду, с таким видом, будто отдавал внука в чужую семью, — сидел на бревне и чинил корзину. Но делали они это иначе. Быстрее. Собраннее. Как делают люди, которые знают, что к определённому часу всё должно быть готово.

Воду носили не как вчера — по ведру, когда кончится, — а подряд, одну посудину за другой, пока все сосуды в доме не стали полными. Два больших горшка, деревянная кадушка, берестяные ёмкости — и пластиковая бутылка Андрея, которую Увий так ему и не вернула, а он и не просил. Дрова заносили в дом охапками, больше, чем нужно на вечер, — складывали у стены, до самой крыши. Скотину — Андрей насчитал трёх коров, телёнка и нескольких овец — пригнали с выпаса рано, когда солнце было ещё высоко, и загнали в ограду возле домов, а не в ту, что подальше, у леса. Собак посадили на привязь.

А детей позвали домой задолго до сумерек.

Это Андрей заметил, потому что и сам помнил, как это бывает: в деревне у бабушки детей загоняли с улицы только

тогда, когда совсем темно, и то с третьего раза. Здесь детей позвали при полном свете. Один раз. Они пришли сразу — все, без споров, даже Пире, который обычно делал вид, что не слышит. Пришли и сели по домам. Не играли. Андрей видел, как соседская девочка, лет пяти, сидит на пороге своего дома и не выходит за него, хотя мать её не держит.

— Почему? — спросил он Вараша. Показал на детей, на воду, на скотину, развёл руками. — Что случилось?

Вараш посмотрел на небо, туда, где на востоке, над лесом, воздух уже начинал густеть к вечеру. Сказал три слова. Два Андрей знал — он записал их вчера в блокнот: «этот» и «ночь». Третьего не знал.

Пире, сидевший рядом, пришёл на помощь. Показал пальцем вверх, в небо, потом вытянул ладонь — и перевернул её. Вверх ладонью — вниз ладонью. Как переворачивают что-то на другую сторону.

Эта ночь — другая.

— Другая? — сказал Андрей. — Какая другая? Почему?

Вараш пожал плечами. Не отмахнулся — именно пожал: так пожимают плечами, когда спрашивают, почему зимой холодно. Другая. Бывают такие. Сегодня — такая.

* * *

Солнце садилось долго. Андрей сидел у стены дома, на бревне, где утром Лапкас плёл корзину, и смотрел, как за рекой, над лесом, небо становится сначала жёлтым, потом розовым, потом каким-то зеленоватым, как старое стекло. Ря-

дом никого не было — все сидели по домам, и поселение, всегда полное голосов, стука, звона подвесок, лая, стояло тихое, как брошенное.

Потом на востоке, над тёмной полосой леса, поднялась луна.

Полная. Огромная, какой она бывает только у самого горизонта, медно-красная, с тёмными пятнами морей. Она выплывала из-за леса медленно и тяжело, как что-то живое, и Андрей, который не видел такой луны, наверное, с детства — в городе луну не видно, в городе её загораживают дома и засвечивают фонари, — засмотрелся.

— Смотри-ка, — сказал он вслух, сам себе, по-русски. — Как фонарь.

И поднял руку, показывая на неё пальцем.

Удар пришёлся по запястью — сверху, ребром ладони, сильно, так, что рука дёрнулась вниз и отозвалась болью до локтя. Андрей обернулся.

Увий. Она стояла у него за спиной — он не слышал, как она вышла. Лицо у неё было белое и злое. Она ничего не сказала — только схватила его за руку, ту самую, которой он показывал, прижала её вниз, к его колену, и держала, крепко, пока он не перестал сопротивляться. Потом так же молча отпустила, резко повернулась и ушла в дом, и Андрей услышал, как она что-то сказала там внутри — коротко и зло, — и как кто-то ответил ей, успокаивающе.

Он сидел, потирая запястье, и не понимал, что сделал.

Он посидел ещё немного. Луна поднялась выше, побелела, уменьшилась. Из дома вышел Варащ, посмотрел на Андрея, на луну — не поднимая руки, одними глазами, быстро, как смотрят на опасное, — и кивнул на дверь. Иди в дом. Сейчас.

* * *

В доме было иначе, чем вчера.

Огонь горел ниже — Увий пригасила его, сдвинула угли, прикрыла чем-то. Окошко в стене было заткнуто — не досечкой, как вчера, а изнутри плотно набитым мхом. Дверь заперли: Варащ опустил поперёк неё тяжёлый брус в деревянные скобы. Щель под коньком, через которую уходил дым, тоже чем-то прикрыли — наполовину, так что дым теперь стоял ниже, и приходилось сидеть почти на полу.

Перед тем как запереть дверь, в неё заглянул седой — тот, что приходил в первый вечер.

Андрей узнал его сразу — по росту, по прямой спине, по седине, которая в сумерках светилась. Имени его он всё ещё не знал; про себя называл «седым». Седой не вошёл. Он стоял снаружи, на пороге, и в руке у него была ветка — тёмная, колючая, пахучая, — можжевельник, понял Андрей по запаху, который вдруг ворвался в дымную духоту: смолистый, горький, лесной. Седой медленно провёл ладонью по дверному косяку сверху вниз — с одной стороны, потом с другой, — будто проверял, крепко ли стоит. Потом нагнулся и положил ветку на порог, поперёк, аккуратно, как кладут что-то

на стол. Сказал несколько слов — ровно, негромко, распевно, почти без интонации, как говорят то, что говорили уже тысячу раз. И ушёл к следующему дому.

Когда дверь закрыли, Увий подошла к порогу изнутри. Она не трогала ветку — та осталась снаружи. Она присела на корточки, положила ладонь на порог — не на середину, а в одно определённое место, у левого косяка, где дерево было темнее и глаже, чем везде, будто его много лет трогали руками, — и подержала так. Губы у неё шевелились. Потом она встала и ушла к огню, и больше к двери никто не подходил.

Андрей сидел на своём месте — у двери, у самого порога, на краю настила — и смотрел на это место у косяка, тёмное, отполированное ладонями.

Ему было не по себе. Не страшно — просто не по себе, как бывает в чужой квартире, когда хозяева вдруг начинают говорить шёпотом. Он смотрел, как Изиви укладывает Пире у дальней стены, как Увий садится между ними и дверью. Как Вараш кладёт рядом с собой лук, — не натягивая, просто рядом. Никто не ложился спать по-настоящему. Все сидели или лежали с открытыми глазами и молчали.

* * *

Голос раздался, когда луна, по его прикидке, поднялась высоко, — часа через два после заката. Андрей посмотрел на часы, подсветив их: 23:14.

Снаружи, у самого дома, у стены за спиной Пире, женский голос позвал:

— Пи-ре.

Тихо. Ласково. Нараспев, два слога, второй — вверх, протяжно, как зовут детей домой с улицы.

Андрей узнал этот зов. Не голос — голос он слышал впервые, мягкий, молодой, с тёплой хрипотцой. Он узнал саму мелодию: два слога, второй вверх. Так звал из леса мужской голос в первый вечер, у ручья. Так же.

В доме никто не шевельнулся.

— Пи-ре.

Ближе. Теперь у самой двери.

Андрей посмотрел на мальчика. Пире лежал у стены, завёрнутый в шкуру по самый подбородок, с открытыми глазами, и глаза в свете углей блестели. Он не плакал. Не дёргался. Лежал и смотрел в потолок, в дым, и не отвечал. Изиви рядом с ним держала его за руку поверх шкуры. Увий сидела прямо, как всегда, положив руки на колени. Лицо у неё было как камень.

Голос сказал что-то ещё — несколько слов, Андрей не понял ни одного. Только имя, опять: «Пире». И ещё одно слово, которое он знал, — «ава». Мама. Как будто: это я, мама. Это твоя мама.

Мать Пире была мертва. Этому ему никто не говорил, но он знал — знал с того самого вечера, как увидел, кто укрывает мальчишку на ночь, и увидел, что это не мать. Наверное, сестра Вараша: мальчишка лип к нему так, как липнут только к родному. И тут до него дошло. Шутка. Кто-то из сосе-

дей, кто знал её голос, или просто молодая женщина, умеющая подражать, — кому-то показалось смешным пугать осиротевшего ребёнка в «другую ночь». Его затопило злостью, горячей и почти облегчающей: наконец-то что-то понятное.

Он встал. Не до конца, в дыму — пригнувшись. Шагнул к двери. Брус, опущенный в скобы, — поднять, открыть, посмотреть в лицо этому шутнику, и...

Рука сжала его запястье. То же самое запястье, по которому днём ударила Увий.

Вараш. Он оказался рядом бесшумно, одним движением, как тогда в лесу из-за ели, и держал Андрея так, что хрустнули кости. Андрей повернулся к нему — и замолчал на полуслове.

У Вараша было лицо, какого Андрей у него не видел. Ни в лесу, с натянутым луком, ни у лип, когда он молча не пускал его в обход. Сейчас на этом лице был страх. Не осторожность, не тревога — именно страх, настоящий, голый, как у ребёнка, от которого кровь отливает от губ. Губы у Вараша были серые. Рука, которой он держал Андрея, была холодная и мокрая.

Вараш покачал головой. Один раз. Медленно.

И Андрей сел.

Голос звал ещё трижды. Потом замолчал. Потом, долго спустя, по крыше, над самым коньком, будто прошло что-то лёгкое — или это ветер тронул прикрытую щель. Потом ничего.

Вараш не отпустил его руку до тех пор, пока угли в очаге не начали сереть. Он сидел рядом, плечом к плечу, и держал, не сильно уже, — будто не Андрея держал, а себя.

* * *

Утро пришло туманом.

Андрей проснулся — оказывается, всё-таки уснул, сидя, привалившись к стене, — от того, что Вараш поднимал брус. В щель двери сочился серый свет. Вараш выглянул, постоял, вышел. За ним Увий. Андрей тоже поднялся — ему давно и сильно было нужно наружу — и вышел следом.

Туман стоял такой, что не было видно собственных ног. Белый, плотный, холодный, пахнувший рекой. Андрей отошёл от двери — шагов на двадцать, в сторону от домов, к кустам за навесом, как ходил вчера и позавчера, — сделал своё дело, повернулся и пошёл обратно.

Двадцать шагов. Он всегда считал шаги.

На двадцатом шаге дома не было. Был туман и мокрая трава под ногами.

Он сделал ещё десять. Остановился. Прислушался — ни звука, ни голоса, ни стука, ни звона. Как будто поселение исчезло. Он повернул налево, прошёл десять шагов — трава. Направо — трава. Он стоял в белом ничто, в двадцати шагах от дома, в котором прожил два дня, и не знал, в какую сторону идти.

Он хотел крикнуть. Набрал воздуха — и не крикнул. Опять, как в первый вечер у ручья, рот закрылся сам. «Не

отвечай, если зовут. И не зови сам».

Он стоял. Туман медленно, неохотно редел — сначала проступил тёмный силуэт куста, потом жердь, потом угол ограды, где переминались коровы. Андрей стоял в пяти шагах от ограды, в другой стороне от той, куда шёл. Он прошёл мимо дома — мимо, в двух шагах, не увидев его, — и ушёл за него. Он посмотрел на часы. Двадцать три минуты.

Туман, сказал он себе. В таком тумане и в собственном дворе заблудишься. И только где-то глубоко, под рёбрами, там, где помнился вчерашний удар по запястью: вчера я показал на неё пальцем. Он отогнал эту мысль, как муху.

У дома стоял Вараш и смотрел на стену — на ту, за которой ночью лежал Пире, у которой звал голос. Андрей подошёл. Под стеной была мягкая, сырая земля, вся в росе, — та самая земля, в которой вчера он сам, проходя, оставил отпечатки ботинок. Его отпечатки и были — вчерашние, чёткие, с протектором. И больше ничего. Ни босых ног, ни обутых, ни собачьих, ни звериных. Ничего, что подошло бы к стене ночью и стояло у неё, зовя.

Вараш посмотрел на эту землю, на Андрея — и ничего не сказал. Не удивился. Как будто и не ждал найти там следы.

Из дома, протирая глаза, выполз Пире. Бледный, взлохмаченный, в шкуре на плечах. Увидел Андрея — и, к его изумлению, улыбнулся: спокойно, как ни в чём не бывало, как улыбался вчера утром. Подошёл, дёрнул за рукав, показал на стену. Сказал:

— Ава.

И, видя, что Андрей не понимает, показал пальцами на свои глаза. Потом на дом. Потом снова на глаза. И пожал плечами, по-взрослому, как пожимал Вараш.

Смотреть. Мама приходила смотреть.

Потом добавил ещё что-то, и Андрей с трудом, из двух знакомых слов и жеста — мальчик похлопал себя по груди и помотал головой, — понял: не за мной. Она приходила не за мной. Просто посмотреть.

Увий, выходявшая из дома с горшком, слышала. Остановилась. Лицо у неё не дрогнуло — но она поставила горшок на землю, прямо у порога, подошла к Пире, взяла его за плечи, развернула к себе и долго смотрела ему в лицо. Потом сказала что-то — тихо, устало. Не зло, как вчера. И погладила внука по голове — один раз, коротко, так, словно проверяла, на месте ли он.

Андрей стоял посреди двора в тающем тумане. Ему было холодно, болело запястье, хотелось есть. И он думал о том, что вчера вечером видел, как здоровые, спокойные, работающие люди — люди, которые умели колоть дрова, чинить пояса, делать стрелы и читать следы на глине, — всерьёз заперлись от голоса. Он решил тогда, что это суеверие.

А теперь перед ним была пустая росистая земля под стеной, где не было ничьих следов, кроме его собственных, мальчик, который спокойно рассказывал, что мёртвая мама приходила посмотреть, и бабка, для которой это было горько

и тяжело — но ни капли не удивительно.

Может быть, они запирались не от выдумки, а от того, что уже видели. Такой же опыт, по какому Вараш знал, что горячему нельзя пить ледяную воду.

Он не знал, что об этом думать. Но отмахнуться у него больше не получалось.

Глава 9. Имя для чужого

О нём говорили весь следующий день, и он это видел, хотя не понимал ни слова.

После полудня взрослые собрались у дома Лапкаса — не все, человек двенадцать: мужчины, несколько женщин постарше, Увий, Вараш, сам Лапкас, опиравшийся на палку. Сели кругом, на брёвнах и на земле, и говорили — долго, неторопливо, по очереди, не перебивая. Андрея не позвали, но и не прогнали. Он сидел поодаль, у своего дома — он уже думал про дом Увий «свой дом», сам того не замечая, — и смотрел, как они говорят о нём.

Что говорят о нём, было понятно: время от времени кто-то из круга поворачивал голову в его сторону, и на секунду все взгляды сходились на нём, как лучи, а потом расходились. Однажды мужчина, тот самый, что в первый вечер стоял с топором, — крупный, рыжебородый, с тяжёлыми руками, — махнул рукой на запад, в сторону лип, и сказал что-то резкое, и несколько человек согласно закивали. Андрей понял только, что речь о том месте, откуда он вышел.

Седого в кругу не было. Он пришёл позже, когда разговор, кажется, уже устал: подошёл, не спеша, и круг раздвинулся, давая ему место, и он сел — и все замолчали. Он выслушал Вараша. Выслушал рыжебородого. Выслушал Увий, которая говорила недолго и тихо, но так, что её, кажется, слушали

внимательнее всех. Потом седой повернулся и посмотрел на Андрея — и поманил его рукой.

Андрей подошёл. Сел, куда показали, — в круг, напротив седого.

Седой что-то сказал, коротко. Вараш наклонился к Андрею и медленно, отдельно, повторил одно слово — и показал пальцем на него. Имя. Как тебя зовут — ещё раз, для всех.

— Андрей, — сказал он.

По кругу прошёл шорох. Кто-то попробовал повторить — вышло «Андырь». Кто-то другой — «Андрай», как у Вараша. Рыжебородый поморщился, будто откусил кислое. Андрей и сам слышал, как его имя звучит здесь: чужим, неудобным, неправильным во рту, со звуками, которые не хотели ложиться на здешний язык. Имя, которое ничего не значило. Ни животного, ни дерева, ни предка, ни места. Просто звук.

Кто-то из мужчин сказал что-то, показывая рукой на запад, на липы, — видимо, предлагая назвать его по тому месту, откуда он пришёл. Несколько человек одобрительно закивали: так было понятно, так было удобно.

Седой сказал одно слово. Не громко. Кивки прекратились сразу, как будто кто-то выключил звук. Мужчина, предложивший, опустил глаза.

Андрей понял, что его чуть было не назвали по имени места. И что седой — почему-то — этого не позволил.

* * *

Тогда он сделал глупость, от которой потом долго краснел, вспоминая. Ему хотелось помочь. Ему хотелось, чтобы они наконец поняли, кто он такой, — хоть что-нибудь, хоть одно слово, за которое можно зацепиться. И он вспомнил слово.

Он хлопнул себя по груди и сказал, громко и отчётливо, как говорят на вокзале в чужой стране:

— Мари.

Мариец. Я — мариец. Такой же, как вы. Одного с вами народа. Он и сам не знал, откуда в нём это взялось — он не говорил о себе этого слова, наверное, никогда в жизни, разве что в анкетах, в графе, где спрашивали. Но здесь, сейчас, это было единственное, что у него было общего с этими людьми. Он думал, что это прозвучит как пароль.

Круг помолчал.

Потом Лапкас, старик, хихикнул — тонко, по-стариковски, в бороду. Потом засмеялась одна из женщин. Потом, к ужасу Андрея, засмеялись почти все — не зло, не обидно, а так, как смеются, когда ребёнок с серьёзным видом сообщает, что он мальчик.

Лапкас повторил его слово. Почти то же самое — чуть иначе, с другим призвуком, как все слова здесь были «почти те же». Показал на Андрея. Показал на Вараша. На рыжебородого. На себя. Каждый раз повторяя это слово. Потом развёл руками, будто говоря: ну да. Ну и что.

И тут до Андрея дошло. Не сразу — сначала он решил, что его не поняли, — а потом увидел: поняли, и поняли пра-

вильно, только слово значило другое. Здесь оно не было именем народа. Оно было просто — человек. Мужчина. Взрослый человек, свой, из людей. «Я — человек», — вот что он с таким торжеством объявил на весь круг. «Я — мужик». Лапкас, похоже, ответил ему: да видим мы, что мужик. А чей?

Андрей сидел красный. Но где-то под стыдом у него шевельнулось что-то другое — тёплое и немного страшное. Слово было то же. Через... сколько? Он не решился додумать через сколько. Но слово было то же. Они сказали его так же, как говорила бабушка, только чуть по-другому, — и оно значило человека. Своего человека. Седой не смеялся. Он смотрел на Андрея, пока смех не стих, а потом сказал что-то — немного, несколько слов, — и все согласно закивали, и круг начал расходиться. Решили.

Вараш потом объяснил ему, что решили, — жестами, словами, которые Андрей уже знал, и руками Пире, который с удовольствием изображал всё в лицах. Андрея будут звать «Андрай». Так, как получалось у Вараша. Другого имени ему давать не будут — пока. Имя — не одежда, его не выдают тому, кого не знают.

* * *

Вечером, в сумерках, дети играли у реки, на песке возле лодок.

Андрей сидел неподалёку, на перевёрнутой колоде, со своим блокнотом, и записывал новые слова. Их набиралось уже под семьдесят, и среди них — «имя», которое он поймал

сегодня в круге и теперь повторял про себя, чтобы не забыть. Дети не обращали на него внимания. Он стал для них чем-то вроде дерева на краю двора — большое, странное, но привычное.

Игра была на что-то вроде прятков, только наоборот: один ребёнок стоял с закрытыми глазами, а остальные подкрадывались к нему, и когда кто-то подходил совсем близко, он, не открывая глаз, выкрикивал слово, и все с визгом разбегались. Андрей смотрел, пытаясь уловить правила. Потом заметил, что, разбегаясь, дети кричат одно и то же — и машут руками на запад, туда, где за лесом, за рекой, в дне пути стояли липы. Кричат, смеясь и пугаясь понарошку, как кричат «Баба-яга!» или «Бука идёт!».

Одна девочка, маленькая, та, что вчера сидела на пороге своего дома, отстала от остальных, подбежала к Андрею, ткнула пальцем на запад и, округлив глаза, повторила ему это слово — страшным шёпотом, с удовольствием, как пугают младших.

Андрей знал уже, как спросить про имя. Он показал туда, на запад, и спросил — медленно, коверкая, как мог:

— Имя? Как... зовут? Его — как зовут?

Девочка перестала улыбаться.

Не сразу — сначала она смотрела на него с недоумением, будто не поняла вопроса. Потом поняла. И лицо у неё стало растерянным и испуганным, совсем другим испугом, чем минуту назад, — не игрушечным. Она оглянулась на других

детей.

Дети остановились. Все. Тот, что стоял с закрытыми глазами, открыл их. Пире, который был среди них, смотрел на Андрея так, будто тот при всех снял штаны.

От дома донёсся голос Увий — резкий, как удар. Одно слово. Дети мгновенно разбежались по домам — не с визгом, как в игре, а молча, быстро. Девочка исчезла первой.

Увий стояла у порога и смотрела на Андрея. Не зло. Устало. Как смотрят на человека, который второй раз за два дня сунул руку в огонь. Потом покачала головой и ушла в дом.

Андрей остался сидеть у реки, один, с блокнотом на колене.

Он написал на правой странице, под «Не сходится»: «Слово-страшилка у детей — на запад (липы?). Спросил имя — все замолчали. Дети испугались вопроса больше, чем самого слова».

Потом подумал и приписал: «Не спрашивать».

* * *

Утром Увий дала ему одежду.

Она не спрашивала — просто положила перед ним на настил стопку, пока он спал, и когда он проснулся, стопка уже лежала у его головы. Рубаха — длинная, ниже колен, из грубой некрашеной ткани, серой, колючей, заштопанная на локте другой нитью, потемнее. Штаны — из той же ткани, широкие, с завязкой на поясе вместо пуговицы. Две длинные полосы сукна — обмотки. Кожаный шнурок. И пояс — уз-

кий, плетёный из шерстяных нитей, бурых и тёмно-красных, с простым узором ёлочкой.

— Мне? — спросил Андрей и показал на себя.

Увий кивнула на его джинсы. Потом на его ботинки. Потом — на пятку, которую Вараш перевязывал ему каждое утро и которая, несмотря на мох, не заживала, а воспалилась, покраснела вокруг и по вечерам дёргала. Покачала головой: не годится. Не для этой жизни.

Рубаха, наверное, была Варашева — старая, заношенная, из тех, что уже не жалко. Андрей понял это по тому, как она села на плечах: узковата, коротковата в рукавах, Вараш был ниже и уже в кости. Штаны оказались впору. Обмотки он намотать не сумел — Изиви, хихикая в ладонь, показала, как: от щиколотки вверх, внахлёст, и перехватить шнурком крест-накрест, как у Вараша.

А обувь Увий сделала сама. При нём.

Она взяла кусок кожи — мягкой, толстой, с остатками шерсти с одной стороны, — посадила Андрея на порог, поставила его босую ногу на кожу и обвела её пальцем, будто запоминая. Потом — вторую. Потом взяла нож, резала, не размечая, на глаз, быстро и уверенно, — вырезала два куса странной формы, похожей на лист с длинными лепестками. Проколола шилом дырки по краю. Прodelа ремешок. Наде-ла Андрею на ногу, собрала кожу вокруг стопы, как собирают мешочек, стянула ремешком, завязала. Обошла с другой стороны. Подрезала лишнее. Сняла, что-то подшила, надела

снова.

Всё это заняло меньше времени, чем он когда-то тратил на выбор обуви в магазине.

Андрей встал. Прошёлся по двору. Кожа облежала ногу, как перчатка, мягко, ничего не давило, не тёрло, и пятке, впервые за пять дней, было не больно — ремешок шёл выше, по щиколотке, и не касался раны. Он чувствовал каждый камешек под ногой — и почти сразу оценил, что это хорошо: он стал ступать иначе, осторожнее, мягче, не всей подошвой с размаху, как в своих ботинках, а сначала пробуя.

Вараш, проходивший мимо, посмотрел на его ноги, потом на его шаг — и хмыкнул. Одобрительно.

Джинсы, трекинговые ботинки за одиннадцать тысяч и синтетические носки Андрей сложил в рюкзак. Куртку оставил: по утрам было холодно, а от дождя она спасала лучше всего, что здесь было. Когда он надел её поверх серой колючей рубахи, Изиви снова прыснула в ладонь, и он вдруг тоже засмеялся, представив себя со стороны: мужик в домотканой рубахе до колен, в обмотках, в самодельных кожаных туфлях и в ярко-синей мембранной куртке с капюшоном. Туристический ужас. Этнографический кошмар. Ему было всё равно. Ноге было не больно.

* * *

Седой пришёл вечером, и Андрей наконец узнал, как его зовут.

Сказал Пире, шёпотом, когда тот вошёл во двор: Шемвуй.

Андрей повторил про себя — «Шемвуй», — стараясь запомнить. В имени было что-то, что казалось ему смутно знакомым, какое-то бабушкино «шем», но он не мог вспомнить, что оно значит, и отложил.

Шемвуй позвал Увий, Вараша и Андрея к порогу — к двери дома, снаружи.

Там, у двери, при последнем свете, он сделал простую вещь. Велел Андрею встать на порог — одной ногой снаружи, одной внутри. Сказал что-то Увий. Увий принесла из дома ломоть лепёшки — не целую, половину, серую, грубую, — отломила кусок и дала Андрею из рук. Андрей взял и, помедлив, по кивку Вараша, съел. Потом Шемвуй сказал что-то Варашу — долго, медленно, с той же распевной ровностью, что и вчера у порога с можжевельником, — и Вараш ответил: коротко, одним словом, каким здесь соглашались. Потом Шемвуй положил ладонь Андрею на плечо — тяжёлую, сухую ладонь, ту, на запястье которой начинался ожог, — и держал её так, пока говорил последнее. И убрал.

И всё. Никаких свечей, песен, торжественности. Всё заняло времени меньше, чем Увий шила ему обувь.

Что это было, Вараш объяснил ему уже в доме, у огня, долго, с трудом, с помощью Пире и с помощью всех семидесяти слов, которые Андрей успел записать.

Андрей теперь был — здесь, при этом доме. При доме Увий. Не родственник, не сын, не гость — что-то, для чего у Андрея не было слова, а у них было. Человек, за которо-

го отвечают. Если Андрей что-то возьмёт — отвечать будет этот дом. Если что-то ломает — возмещать будет этот дом. Если кого-то обидит, если нарушит то, чего нельзя нарушать, — Вараш стукнул себя в грудь, потом показал на Увий, на Изиви, на Пире, — спросят с них.

Андрей слушал и чувствовал, как в груди что-то медленно тяжелеет.

Всю жизнь он отвечал только за себя: свои налоги, своя ипотека, свои штрафы за превышение, — и никто, кроме него, не платил за его ошибки. А сегодня вечером он съел кусок чужой лепёшки на чужом пороге, и теперь каждая его глупость будет стоить Увий, которая отдала ему лучшую кашу, Варашу, который перевязывал ему пятку, мальчишке, который хранил его верёвочку.

У него появилось место — первое в этом мире, где его могли найти, если бы кто-то стал искать. «Андрай, при доме Увий».

И вместе с местом появились люди, которые за него заплатят.

Он лёг на свою шкуру у двери — она всё ещё была у двери, но теперь, кажется, по праву — и долго лежал, глядя, как Пире рядом с бабкой перебирает в темноте свои сокровища из-за пазухи. Андрей думал, что за пять дней не сделал для этого дома ничего. А дом за него уже поручился.

Он решил, что больше не будет спрашивать то, чего нельзя спрашивать, и показывать туда, куда нельзя показывать.

Рисковать теперь было не его дело.

Глава 10. Рука на пороге

Теперь, когда он знал, что за него отвечают, Андрей стал замечать то, мимо чего раньше проходил.

Например, руку Увий.

Она касалась порога всякий раз, когда входила в дом. Не каждый раз одинаково — иногда, входя с полными руками, она только чуть задевала его пальцами, мимоходом, как задевают дверной косяк, чтобы не удариться; иногда, если руки были свободны, присаживалась и клала ладонь целиком, на мгновение. Но никогда не пропускала. И всегда — в одном и том же месте: у левого косяка, там, где дерево порога было темнее и глаже, чем везде, отполированное прикосновениями до того, что отражало огонь.

Изиви делала так же, только быстрее и небрежнее, как делают дети то, что велят взрослые. Пире — через раз, и когда забывал, Увий дёргала его за рубаху, и он возвращался и касался. Вараш — никогда. Андрей сначала удивился, потом подумал, что, может быть, это женское. Или хозяйское. Или просто у Вараша свои места, которых касается он.

Он решил, что это вроде того, как бабушка крестилась, проходя мимо церкви в райцентре. Не потому, что так уж верила, — бабушка, насколько он помнил, в церковь не ходила, а в роще за деревней бывала чаще, чем в церкви, — а потому, что так делали. Жест, в котором давно не осталось

смысла, кроме привычки. Рука сама.

Он даже подумал, что это красиво. И записал в блокнот, на правой странице: «У. касается порога слева. Всегда. Только женщины?»

* * *

Воду в тот день носили в большом горшке.

Кадушка, в которой обычно держали воду, дала течь — разохлась по шву, пока стояла пустой в «другую ночь», — и Увий с утра сидела над ней, забивая щель чем-то, похожим на смолу с мхом. А пока воду носили в самом большом горшке, какой был в доме: лепном, тёмном, толстостенном, с плоским дном и широким горлом, в который входило, по прикидке Андрея, литров пятнадцать. Полный, он весил, наверное, как два мешка цемента. Изиви таскала его с реки вдвоём с соседской девчонкой, держа за края, мелкими шажками, и к полудню у обеих дрожали руки.

Андрей отобрал у них горшок на третьей ходке.

Нёс он его один, прижав к животу, обхватив обеими руками, — вверх по тропе от реки, по крутому берегу, стараясь не расплескать. Было тяжело и неудобно: горшок был скользкий снаружи, мокрый, и холодная вода плескала через край ему на рубаху. Но он донёс. Поднялся к дому, пригнулся под притолокой — на этот раз правильно, не стукнувшись, — перешагнул порог и, почти падая от тяжести, опустил горшок на пол — сразу у входа, слева, в угол у косяка, на ровное утоптанное место, где ничего не стояло. Туда было бли-

же всего.

— Ай!

Увий, сидевшая у кадушки, вскочила так, будто он уронил горшок ей на ногу. Изиви за спиной у Андрея ахнула. Увий в два шага оказалась рядом, схватила горшок за край — не за горло, а за край, наклоняя его, будто хотела оторвать от пола, — и крикнула Андрею что-то в лицо, коротко, яростно. Он не понял слов, но понял: подними! Сейчас же!

Он подхватил горшок снова. Вода плеснула. Увий указала на другое место — у противоположной стены, у настила, — и не отпускала край, пока он не донёс и не поставил туда. Только тогда она выпрямилась. Лицо у неё было бледное.

А потом она вернулась к тому углу у левого косяка и присела над ним на корточки. Андрей подошёл посмотреть — и увидел, что пол в этом углу не такой, как везде.

Он был ровный, утопанный, почти неотличимый — но если приглядеться, под тонким слоем земли угадывались края досок. Квадрат примерно в локоть. Увий быстро и осторожно разгребла землю ладонью, подцепила пальцами край доски, приподняла. Под досками — ещё одни, поперёк. Она подняла и их.

Под ними была яма.

Неглубокая, по колено, аккуратная, с обмазанными глиной стенками, сухая. На дне стояли плотно, один к одному, берестяные короба с крышками и два небольших глиняных горшка, завязанных сверху кожей. Увий открыла один

короб — только чуть сдвинула крышку, чтобы посмотреть, — и Андрей увидел зерно. Мелкое, желтоватое, сухое. Она наклонилась, понюхала. Провела ладонью по стенке ямы — там, где сверху, над её головой, как раз стоял горшок. Стенка была сухая. Дощатая крышка — цела. Увий выдохнула, долго, как выдыхают после того, как чуть не упали.

Андрей стоял над ямой и понимал.

Семена. Это были не просто запасы — запасы висели под потолком, в мешках, их ели каждый день. Здесь было то, чего не ели. Зерно, которое сохранили через всю зиму, через голодный конец зимы, когда горшок скребли до дна, — чтобы через несколько дней, когда подсохнет земля, бросить его в эту землю. Всё будущее лето. Вся будущая осень. Каша следующей зимы. Всё это лежало здесь, в сухой яме, под тонкой крышкой из досок, присыпанной землёй, чтобы не видно, у самой двери, где прохладно и сухо.

А он поставил на эту крышку пятнадцать литров воды в тяжёлом мокром горшке. Доски могли не выдержать — просесть, треснуть. Вода могла плеснуть, просочиться между досок. Мокрое зерно в закрытой яме — это плесень через три дня. Это не будущее лето. Это ничего.

Увий закрыла короб, уложила доски, одни поперёк других, присыпала землёй, пригладила ладонью. Потом, уже вставая, провела ладонью по порогу — в том самом месте у левого косяка, тёмном и гладком, — рядом с которым, в двух ладонях, под землёй, лежало зерно.

И Андрей понял, почему это место на пороге отполировано руками.

* * *

Он думал об этом весь остаток дня, и чем больше думал, тем больше ему это нравилось.

Это было изящно. Женщины, отвечающие за запасы, касаются порога у ямы с семенами каждый раз, входя, — и этим жестом, привычным до автоматизма, напоминают себе и всем: здесь нельзя ставить, лить, топтаться. Детей учат этому с малолетства, и дети касаются, ещё не зная зачем, а когда узнают — жест уже в руке. Никакой письменности, никаких табличек: жест, который невозможно забыть.

Это была не религия. Это была техника безопасности. Защитая в жест, как программа зашивается в прибор.

Он сидел вечером на бревне у стены, в новой колючей рубахе, и почти с восторгом перебирал всё, что видел за неделю. Не показывать пальцем на луну — вежливость, распространённая на всё, что кажется живым. Запираться в «другую ночь» — сезонные опасности: волки, рысь. Не спрашивать имя того, чем пугают детей, — может быть, вообще не про духов, а про соседний род, с которым когда-то была вражда. Обходить липы — болото, или медведь, или что-нибудь. Голос он пока отложил.

Он чувствовал себя так, будто нашёл ключ к шифру: всё, что казалось суеверием, оказывалось инструкцией, у которой потерялась первая страница с объяснением. Правила вы-

живания, записанные привычками. Думать так было очень приятно.

Он решил, что будет искать практический смысл в каждом их правиле. Методично, по одному. Как на объекте.

* * *

Вечером он ходил к реке — один, мыться, пока ещё было светло, — и вернулся, когда солнце уже село.

Увий сидела у порога, изнутри, лицом к двери, и чистила что-то в миске. Когда он пригнулся под притолокой — правильно, не ударившись, он уже привык, — она подняла голову. Посмотрела на него. Не на лицо — чуть в сторону, чуть позади.

Потом опустила руку на порог. На то самое место у левого косяка. Не мимоходом, не касанием — положила всю ладонь, плашмя, и не убрала.

И спросила.

Андрей понял вопрос. Все слова в нём были ему уже знакомы — он записывал их в блокнот всю эту неделю, одно за другим, и теперь они сложились сами, как пазл, от которого не хватало двух кусочков, но картинка была видна.

— Кто вошёл с тобой?

Он остановился на пороге. Оглянулся — невольно, как оглядываются, когда тебя спрашивают, кто за тобой. За спиной был пустой двор в сумерках, коровы в ограде, тёмная полоса реки внизу.

— Никто, — сказал он. Слово «нет» он знал. — Нет. Я

один.

Увий не убирала ладонь с порога. Она смотрела мимо него и ждала — не ответа Андрея, понял он. Другого ответа.

Ответил Пире.

Мальчишка сидел в глубине дома, у огня, и перебирал свои сокровища, разложив их на коленях: тот обрывок верёвки, какие-то камешки, птичье перо, кусочек бронзы. Он поднял голову, посмотрел на дверь — туда же, куда смотрела бабка, чуть мимо Андрея, за его левое плечо, — и сказал спокойно, как говорят, какая завтра погода:

— Старый. — И добавил, помахав рукой: — Он не остаётся.

Андрей понял оба слова. «Старый» — так здесь говорили о Лапкасе, о стариках, о том, что давно. «Не остаётся» — он не понял точно, но Пире помахал рукой так, как машут уходящему: пришёл и ушёл. Не останется. Не войдёт.

Увий медленно кивнула. Подержала ладонь на пороге ещё немного — и убрала. Вернулась к миске. Больше ничего не сказала. Будто услышала именно то, что ожидала услышать, и это её, в общем, устраивало.

Андрей стоял на пороге, одной ногой в доме, другой снаружи, — так же, как вчера стоял, когда за него поручились, — и чувствовал, как по спине, между лопатками, под колючей рубахой, медленно ползёт холод.

Он вошёл. Сел на своё место. Посмотрел на Пире — тот уже снова возился со своими камешками, совершенно спо-

койный. Посмотрел на дверь.

Рука на пороге. Он полдня думал, что понял её. Что это — про зерно в яме, про то, чтобы помнить и не ставить. Это и было про зерно. Он видел яму, он видел, как побелела Увий. Это было правдой.

Но только что она положила ту же руку на то же место — и спросила не про зерно.

* * *

Когда все уснули, он достал блокнот и подсел ближе к углам.

До сих пор у него было три вида записей. Слова — левые страницы с конца, уже больше восьмидесяти. Схемы — поселение, тропы, липы, дуга обхода. И разворот, заведённый в первое утро у ручья: «Опасности» и «Не сходится».

Теперь он открыл новый разворот. Долго думал, как назвать. Написал: «Правила». Подчеркнул.

И начал записывать — не объясняя, не классифицируя, просто столбиком, как записывают показания приборов, которые пока не с чем сравнить:

- «1. Не показывать пальцем на луну. (Увий — ударила.)
2. Если зовут ночью — не отвечать. (Все. Вараш — боялся.)
3. В „другую ночь“ — запирает дверь, воду и дрова заранее, скот ближе, детей в дом засветло.
4. Не спрашивать имя того, чем пугают детей. Показывают на запад.

5. Не ходить через липы. Обходить по дуге. (Вараш.)

6. Порог слева — касаться входя (женщины?). Под ним — яма с семенами. Не ставить, не лить.

7. Спрашивают, кто вошёл с тобой. Отвечает ребёнок.

8. Не выбрасывать верёвку. Ничего не выбрасывать.

9. Первую ложку — в огонь. (Увий, каждый раз.)

10. Не называть человека по месту, откуда он пришёл. (Шемвуй — не дал.)»

Он перечитал. Против шестого пункта поставил на полях: «Практический смысл — ДА». Против первого, третьего, пятого — подумал и поставил знак вопроса. Против второго, седьмого и девятого — долго держал карандаш над бумагой и ничего не поставил.

Потом дописал внизу, мельче:

«Пункт 6 — практический. И не только практический. Одно не отменяет другого?»

Он закрыл блокнот. Угли почти догорели. Из глубины дома, из темноты, доносилось ровное дыхание Пире, спокойное, как у всех детей, которым ничего не снится.

Он лёг на свою шкуру у порога — у того самого порога, в двух ладонях от ямы с будущим летом, — и долго смотрел в темноту за левым плечом.

Глава 11. Холодные лета

Сеяли на четвёртый день после того, как он чуть не утопил будущее лето в горшке с водой.

Земля подсохла. Андрей узнал об этом не по погоде, а по Увий: утром она вышла за порог, присела, взяла щепоть земли у стены, растёрла между пальцами, понюхала — и что-то сказала Изиви таким тоном, каким у них на работе говорили «всё, выезжаем». Через час пол-поселения было на поле.

Полям это можно было назвать с натяжкой. Это была вытанутая поляна ниже по склону, между домами и лесом, — пятна чёрной земли среди старых пней, почерневших от времени и торчащих там и сям, как гнилые зубы. Андрей понял не сразу, а когда понял — удивился: они не пахали. Не было ни плуга, ни сохи, ни лошади в упряжке — ничего из того, что он смутно представлял себе как «древнее земледелие». Было несколько кусков земли размером с его однокомнатную квартиру, расчищенных от леса когда-то раньше, — и люди с деревянными мотыгами, с заострёнными кольями, с какой-то штукой вроде лопатки из толстого дерева, окованной по краю железом, которую передавали из рук в руки, как драгоценность.

Женщины и старики рыхлили землю, разбивали комья. Мужчины выкорчёвывали то, что проросло за год, — молодые берёзки, кусты, корни. Дети носили в корзинах камни

на край поляны и сваливали там в кучу — к валуну, который лежал на краю, наполовину уйдя в землю: серый, обли-
занный, огромный, в человеческий рост, с глубокой ямкой
наверху, в которой стояла дождевая вода. Когда Андрей, пе-
редыхая, прислонился к нему спиной, Пире, пробежавший с
корзиной, что-то крикнул ему и засмеялся. Андрей разобрал
одно слово — и не поверил.

— Онар? — переспросил он.

Пире закивал, довольный, что его поняли, показал на ва-
лун, потом высоко над головой, выше, ещё выше, — огром-
ный, — и изобразил, как великан несёт камень под мышкой
и бросает: бух. Лапкас, работавший рядом, что-то добавил,
не разгибаясь, — и Пире, посерьёзнев, перевёл руками: дав-
но. Очень давно. Лапкас показал на себя, потом ладонью на-
зад, за плечо, раз, другой, третий: отец, отец отца, отец от-
цова отца. При том их здесь уже не было.

Андрей погладил шершавый бок валуна. Онар. Бабушка
рассказывала: жил великан Онар, такой большой, что, когда
он вытряхивал землю из лаптей, получались холмы. Андрей
слушал это лет в шесть, засыпая, вместе с другими сказками,
и забыл вместе с ними. А здесь это была не сказка. Здесь
это было — давно. При отцовом отце отцова отца их уже не
было. Как говорят про какой-нибудь старый колхоз или про
царя: давно, но было.

Он улыбнулся. Потом перестал улыбаться и снова взялся
за кол. Андрею дали кол и показали: разбивать, вот так. Он

разбивал. Через полчаса у него горели ладони, через час — вздулись волдыри. Лапкас, работавший рядом — медленно, но без передышки, как заведённый, — посмотрел на его руки, хмыкнул и показал: не так держишь. Не сжимай. Пусть работает вес.

Семена из ямы у порога Увий вынесла сама — в коробе, прижав к груди. Прежде чем бросить первую горсть, она постояла над полем, глядя на него, и что-то сказала — тихо, не людям. Бросила горсть — не вперёд, а на землю перед собой, к ногам. Потом пошла ровными шагами, разбрасывая зерно широкими полукругами, и Изиви шла за ней с граблями из сучьев, заделывая.

* * *

За работой разговаривали. Андрей понимал больше, чем неделю назад, — не фразы, но куски фраз, слова, которые вдруг вспыхивали в потоке речи, как рыба в мутной воде. «Зерно». «Лето». «Холодно». «Отец». «Тогда».

Разговор начал Лапкас. Андрей не уловил, с чего, — может быть, с того, что Увий разбрасывала семена очень скупой, пересчитывая горсти. Лапкас распрямился, опёрся на кол, посмотрел на небо — ясное, высокое, с ослепительным майским солнцем — и сказал что-то, от чего все вокруг приостановились.

Андрей услышал «солнце». И слово, которое знал как «холодный». Потом Лапкас поднял руку и показал на солнце ладонью, развернув её так, будто закрывал солнце, но не до

конца, — и сказал ещё что-то. И повторил слово «белое».

— Солнце белое, — перевёл себе Андрей. — Холодное солнце.

Лапкас говорил долго. Остальные слушали, кивали, иногда кто-нибудь добавлял. Андрей не понимал почти ничего — только отдельные слова и то, что показывали руками. А показывали они вот что. Лапкас — ладонью у земли: росток, маленький. Потом ладонью — он не растёт. Потом пальцем на свою голову, седую, и на небо, и — холод, он обхватил себя руками, поёжился. Лето. Холод. Лето — снова холод. Он поднял два пальца. Три. Кто-то рядом возразил и поднял четыре. Спорили — сколько.

Потом рыжебородый — Андрей уже знал, что его зовут Рывыж — «лис», что он двоюродный брат покойного мужа Увий и что с Варашем они не ладят, — сказал что-то, стукнул себя в грудь, и все засмеялись, кроме Лапкаса. Вараш, работавший неподалёку, наклонился к Андрею и, с помощью слов, которые Андрей знал, и жестов, которые оба уже понимали, перевёл: Рывыж говорит, мать говорила, он родился в то лето, когда иней лёг два раза. Среди лета — белая земля. Два раза. Он потому такой рыжий: солнца не хватило.

Все смеялись. Лапкас не смеялся.

Он сказал ещё что-то — негромко, уже не для всех. Вараш не стал переводить. Но Андрей видел: Лапкас сказал, и Увий, разбрасывавшая семена, на секунду замедлила шаг. И кто-то из женщин положил руку на голову своему ребёнку, как

кладут, чтобы проверить, здесь ли он.

Потом он выяснил — через несколько дней, с трудом, — что сказал тогда Лапкас. Что в то лето ели кору. Что его первенец умер той зимой, не дожив до весны. И что его отец говорил: солнце заболело, и все боялись, что оно не выздоровеет.

* * *

Солнце без тепла.

Андрей разбивал комья и думал об этом весь день, и чем дольше думал, тем меньше ему это нравилось.

Он где-то это читал. Не в учебнике — в интернете, в какой-то статье, которая одно время гуляла по всем лентам, с кричащим заголовком вроде «Самый страшный год в истории человечества». Он прочитал её в очереди в МФЦ или в пробке — рассеянно, между делом, как читают всё в интернете. Там было про извержение вулкана — где, он не помнил; в Исландии? в Америке? — после которого по всему миру на полтора года опустилась мгла, солнце светило, как луна, летом шёл снег, неурожай, голод, чума. Какой-то византиец писал, что солнце было тусклым целый год. В Китае летом выпадал снег. Потом ещё одно извержение, через несколько лет. Самое холодное десятилетие за две тысячи лет. Он запомнил статью только потому, что там была цифра, похожая на номер его школы: пятьсот тридцать шесть.

Пятьсот тридцать шестой год.

Он отложил эту мысль, как горячее. Положил её на самый

край и не трогал.

Мало ли когда бывают холодные лета. Вулканы извергаются постоянно, голодные годы бывали и в девятнадцатом веке, и в двадцатом. Не было причины привязывать «белое солнце» Лапкаса к одной статье, прочитанной в пробке.

Никакой, кроме той, что здесь, в этом мире, не было ни одного гвоздя.

* * *

Вечером он попробовал спросить Вараша, какой сейчас год.

Это было глупо, он понимал, что это глупо, ещё не начав. Но ему нужно было. Они сидели у реки — Вараш чинил сеть, Андрей держал её край, — и Андрей, подбирая слова, как подбирают ключи к чужому замку, спросил: сколько. Сколько зим. С того лета, когда белое солнце. Сколько зим прошло?

Вараш поднял на него глаза. Понял. Удивился.

А потом засмеялся — тем коротким, хриплым смехом, каким смеялся в первый день над его «вюд».

Он показал на Лапкаса, который сидел у дома на своём бревне. Потом — ладонью от земли — маленький. Потом поднял ладонь выше — большой. Потом снова на Лапкаса — старый. Потом на Увий, выходящую из дома, — и ладонь от земли, совсем низко: девочка. Была девочка. Потом на себя, пожал плечами: а меня не было.

Вот так. Когда Лапкас был молодым мужчиной, а Увий —

маленькой девочкой. Когда отец Вараша ещё не был отцом Вараша. Вот сколько зим. Какая тебе ещё разница?

Андрей смотрел на Увий. Ей было лет пятьдесят — может быть, чуть меньше, здесь люди, наверное, выглядели старше. Маленькая девочка — лет пять, семь, десять. Значит...

Значит, сорок лет назад. Около сорока. Плюс-минус.

Вараш всё ещё посмеивался, сматывая сеть. Вопрос был для него не трудным, а пустым. Время здесь считали не зимами, а людьми: «когда Лапкас был молодым», «когда отец моего отца ходил на охоту», «в год, когда Рывыж родился рыжим». Каждая дата была чьей-то жизнью.

Андрей записал в блокнот, на правой странице: «Холодные лета (белое солнце, иней летом $\times 2$, кора, голод) — ок. 40 лет назад. Увий — ребёнок. Лапкас — молодой. Рывыж родился в тот год».

Цифру «536» он не написал. Он держал её в голове и не пускал на бумагу, как будто, записанная, она стала бы правдой.

* * *

Через два дня, вечером, Андрей сказал глупость, и ему ответили лучше, чем он заслуживал.

Посевы были закончены. Было тепло. Река кипела рыбой — пошла какая-то рыба, мелкая и не очень, и мужчины с утра до ночи пропадали на воде, и каждый вечер у домов на жердях висели новые связки, и воздух пах дымом коптилен и рыбьей чешуёй. В лесу повсюду вылезла зелень, которую

ели: он уже знал, какую, — Пире показал, — молодую крапиву, сныть, какие-то стебли, которые можно было грызть сырыми. Каждый день Изиви приносила из леса корзину чего-то съедобного. Андрей ел досыта впервые с того вечера у ручья и чувствовал, как у него прибывают силы.

Он сидел вечером у дома, смотрел на жерди с рыбой, на корзины, на детей, жующих сладкие стебли, и сказал Увий — самыми простыми словами, какие знал, по-детски:

— Еды много.

Увий, развешивавшая рыбу, остановилась. Посмотрела на жерди. На него.

И сказала одно слово — «сейчас». Он знал это слово.

Сказала без упрёка, просто, как поправляют ребёнка, который назвал кошку собакой. Еды много — сейчас. Потом повернулась и продолжила развешивать. И Андрей увидел — впервые увидел — то, на что смотрел всю неделю и не замечал: рыбу не ели. Почти не ели. Ели мелочь, обрезки, головы, варили похлёбку из того, что не годилось для сушки. А всё хорошее, всё крупное, всё, что можно было сохранить, — чистили, солили чуть-чуть драгоценной солью или вообще без соли, вешали, коптили, сушили. Не для сегодня. Для зимы. Для той зимы, которая была ещё в полугоде отсюда, за летом, за осенью, но о которой здесь думали каждый день — так же, как сегодня, в мае, у Лапкаса болело то давнее лето, когда солнце было белым.

«Еды много» здесь не говорили. Говорили: сколько мы

успеем отложить, пока её много.

* * *

Шемвуй пришёл на четвёртый день после сева, когда рыба шла уже вовсю.

Он собрал людей у дома Лапкаса — не всех, человек восемь — и говорил недолго. Андрей понял меньше половины. Но понял главное, потому что Шемвуй показывал рукой — вниз по реке, туда, где она, петляя, уходила в лес на восток и потом, наверное, куда-то сворачивала. Туда. Далеко. Лодки. Говорил о людях — «нижняя вода», «наши там», — о рыбе, о чём-то ещё, что требовало, судя по интонации, порядка и уважения. Несколько раз повторил слово, которое Андрей уже слышал на поле, когда Увий бросила первую горсть к ногам, — то, что говорят не людям.

Вараш потом объяснил — долго, у огня. Ниже по реке, в двух-трёх днях на лодке, живут люди, с которыми этот дом в родстве: оттуда была родом бабка Вараша; туда когда-то вышла замуж его сестра, мать Пире; там живёт отец Пире и вся его отцова родня. Весной, когда идёт большая рыба, там собираются люди с нескольких рек — ловить вместе, меняться, решать дела, и делать то, что делают весной у воды. Шемвуй придёт туда позже. Отсюда отправятся две лодки, скоро, через несколько дней. Вараш — поплывёт. Пире — поплывёт, к отцовой родне; его давно там ждут.

Андрей слушал. Нижняя вода. Большая рыба. Две-три дня на лодке. Люди с нескольких рек.

Реки текут в реки. Он знал это лучше всего на свете — это была его профессия, его ремесло, первое, что он понимал в любой местности: куда течёт вода. Эта река текла на восток, потом, наверное, на юг — все реки здесь, в итоге, текли на юг. В большую воду. В Волгу — если она здесь была. Если он был там, где думал. Волга, которую не спутаешь ни с чем. По Волге он узнал бы... что-нибудь. Где он. Кто вокруг. Может быть, увидел бы других людей, которые знают больше. Может быть, увидел бы... он не знал что.

— Я поплыву, — сказал он Варашу. Сначала по-русски, потом — теми словами, которые знал. Я. Лодка. Тоже.

Вараш посмотрел на него долго. Потом на Увий. Увий пожала плечами — не отказом, а тем же жестом, каким пожимал Вараш: как хочешь, твоё дело. Но потом добавила что-то — и Вараш кивнул. Андрей понял: за тебя отвечает этот дом. Значит, поплывёшь с тем, кто из этого дома. С Варашем. И будешь делать, что скажут.

— Да, — сказал Андрей. — Буду.

* * *

В ту ночь он долго не спал.

Лежал на своей шкуре у порога, в полуметре от ямы, в которой больше не было семян, и смотрел в темноту, в дым под коньком, в щель, где светилось небо.

Пятьсот тридцать шестой. Плюс сорок.

Он запретил себе считать — и сосчитал. Это получилось само, как всё, что касалось чисел. Пятьсот семьдесят пять —

плюс-минус. Может быть, ничего общего с той статьёй, может быть, совсем другое лето, другой вулкан, другой век. Может быть, тысяча какой-нибудь год, или восьмисотый, или вообще до нашей эры. Он не знал. Он не историк. У него не было ничего, кроме одной статьи, прочитанной в пробке, и старика, у которого умер ребёнок.

Но одно он знал теперь точно, и это знание наконец легло на своё место, без спроса, как ложится камень, который долго держали на весу.

Четвёртое объяснение.

Он не в лесу у Кожлаяла. Не в секте. Не в бреду. Не в реконструкции. Он — давно. Очень давно. Там, где нет ни Кожлаяла, ни Йошкар-Олы, ни России, ни, может быть, даже слова, от которого потом произойдёт слово «мари». Где его город, его девятиэтажка, его машина на обочине ещё не существуют, и не будут существовать сотни, может быть, тысячу с лишним лет.

Система его не найдёт. Никогда. Никакие собаки не возьмут след, который оборвался на иле. Никакой вертолёт не долетит туда, где он сейчас. Надя позвонит в офис, и найдут машину, и будут искать — неделю, две, месяц, — прочешут лес вокруг рощи, пройдут с собаками по полю, по ложбине, по тропе к ручью. И не найдут ничего. И однажды перестанут. И Надя будет сидеть над телефоном, в котором висит его последнее сообщение — «Перезвоню вечером. Не обижайся», — если оно вообще дошло.

Он лежал и смотрел в дым, и дышал медленно, как учили когда-то на курсах по технике безопасности — вдох на четыре, выдох на шесть, — и это не помогало.

А потом у дальней стены во сне что-то пробормотал Пире, и Увий, не просыпаясь, протянула руку и поправила на нём шкуру. И Андрей подумал — неизвестно почему, может быть, от той же усталости, — что эти люди тоже живут так. Всегда. Без системы, которая найдёт. Без вертолёта. Без МЧС. Сорок лет назад у Лапкаса умер ребёнок, и никто не пришёл его спасать, потому что некому было приходить. И Лапкас этой весной снова разбивал комья на поле, медленно, без передышки, как заведённый, — и снова сеял.

Он не знал, сколько сейчас лет от Рождества Христова. Он знал, что через несколько дней поплывёт вниз по реке, что рыба идёт, что семена в земле и что за него отвечает этот дом. Этого хватило, чтобы наконец уснуть.

Часть II. Реки

Глава 12. Вода вместо дороги

Собирались три дня, и Андрей только к концу второго понял, что сборы — это тоже дорога, просто её часть, которую проходят на берегу.

Сначала он думал, что всё будет, как в походе: покидал вещи в рюкзак, сел в лодку, поплыл. Он даже удивился, когда на следующее утро после объявления Шемвуя никто не стал никуда плыть. Вместо этого Увий сняла с балки два мешка сушёной рыбы, вытряхнула их на чистую шкуру у порога и стала перебирать — по одной, каждую рыбину поднося к носу, сгибая, простукивая ногтем, как простукивают дыню. Хорошие — в одну кучу. С пятнышком плесени — в другую: эти съедят дома, сейчас, а в дорогу нельзя. Треснувшие, пересохшие до крошки — в третью: на похлёбку. Через час из двух мешков в дорожный отобралось меньше половины.

Потом она отсыпала крупы — из того немногого, что осталось после сева, — в берестяной туес с плотной крышкой, и Андрей видел, как она несколько раз отсыпала и снова досыпала, прикидывая на глаз, и в конце концов отсыпала обратно одну горсть. Потом завернула в лист кусок чего-то жирного, белого, — топлёного сала или жира, — и положила свер-

ху, как кладут самое ценное.

Вараш чинил снасти. Сеть, которую они вдвоём перебирали по вечерам у реки, он разложил на траве во всю длину — метров десять, прикинул Андрей, — и прошёл её от конца до конца, ячея за ячеей, связывая порванное, подтягивая ослабшее, заменяя перетёршиеся концы новой ниткой. Потом взялся за другие снасти, которых Андрей не знал: мотки лесы с костяными и железными крючками, какую-то плетёную из прутьев ловушку, длинную, суживающуюся в горло, как воронка, пару острог с зазубренными железными наколочниками. Каждый крючок он осмотрел. Два — выпрямил на камне. Один — выбросил. Нет, не выбросил: положил в тот же мешочек, где лежал обломок ножа.

А груз — то, что везли вниз, к родне, в обмен и в подарок, — отбирали всем поселением.

Андрей не ожидал, что это будет такое дело. Мужчины приносили к дому Увий то, что хотели отправить: связку шкурок — белка, куница, ещё какие-то, тёмные, мягкие, — выделанных за зиму и сложенных мехом внутрь; несколько деревянных чаш, которые долгими вечерами резал Лапкас, гладких, тёмных, с узором по краю; пучок стрел, сделанных Варашем при Андрее; берестяные короба; моток толстой верёвки. Женщины — полотно, свёрнутое в тугие рулоны, и маленькие кожаные мешочки, завязанные наглухо, о содержимом которых не говорили. И всё это надо было уложить в две лодки. А в лодках должны были поместиться ещё люди,

еда, снасти — и при этом лодки не должны были сесть в воду глубже, чем на ладонь от края.

Вараш с Рывыжем спорили об этом весь третий день. Андрей слышал, как они спорят, — сдержанно, но упрямо, как спорят люди, которые друг друга не любят, но знают, что один без другого не справится. Про каждую вещь: берём — не берём. Рывыж хотел взять больше шкурок. Вараш — больше еды. В конце концов связку шкурок разделили пополам и половину оставили.

В чём дело, Андрей сообразил, только когда увидел лодки.

* * *

Их было две, и лежали они вверх дном на песке у реки, там, где он видел их в первый вечер. Он подходил к ним уже десяток раз и ни разу не смотрел по-настоящему.

Теперь, когда их перевернули, он посмотрел.

Каждая лодка была деревом. Не сделанная из дерева — а именно деревом: одним стволом, выдолбленным изнутри. Длинная, шагов в семь, узкая — поставить поперёк двух человек плечом к плечу не выйдет. Нос и корма сходились клином, слегка задираясь вверх. Снаружи, по бокам и по дну, ствол был обтёсан ровно, почти гладко, и на тёмной древесине виднелись короткие, частые следы ударов — будто рябь на воде, — там, где когда-то проходило лезвие. Внутри — выбрано до тонких стенок, в два пальца, не больше, и на дне оставлены поперечные перемычки, как рёбра, — Андрей потрогал одну: это не вставлено, это сам ствол, эти места про-

сто не стали выдалбливать, оставили для прочности. Лодка пахла сырым деревом, рыбой и смолой.

Он прикинул. Ствол, из которого её сделали, был толщиной в обхват взрослого мужчины и прямой — без сучков, без гнили, без кривизны — на всю длину. Он представил, сколько лет росло такое дерево. Где его нашли. Как свалили, вот этим самым топором с проушиной или таким же. Как тащили к реке. Сколько ударов, сколько дней, сколько рук ушло на то, чтобы выбрать изнутри всё лишнее, ни разу не пробив стенку. Он вспомнил, как Вараш делал стрелы, — сто касаний ножом на одну. Здесь были тысячи. Десятки тысяч.

И вот этого — было две штуки на всё поселение. Две лодки. Больше не было.

Теперь стало ясно, почему весь третий день спорили о связке шкурок.

Лодки спускали вчетвером — Вараш, Рывыж, его сын, долговязый молчаливый подросток лет шестнадцати, и Андрей. Лодка оказалась тяжелее, чем выглядела, и легче, чем он боялся, — её несли, взявшись с боков, подсунув под днище руки, и опустили на воду так бережно, как ставят на стол полную миску. Она закачалась, успокоилась и застыла — тёмная, узкая, живая.

Увий подошла последней. В руках у неё была его пластиковая бутылка — полная, с водой. Андрей не просил её обратно и был уверен, что больше её не увидит. Увий протянула бутылку не ему, а Варашу, сказала что-то, — Андрей

разобрал «дорога» и «нужнее», — и Вараш кивнул и сунул бутылку под перемычку, в нос. Потом Увий посмотрела на Андрея. Не сказала ничего. Только поправила на нём ворот рубахи — одним движением, как поправляют сыну, — и отошла.

* * *

Первые полчаса в лодке Андрей провёл, вцепившись в борта.

Он знал, что делать. В теории он знал про лодки всё, что знает человек, окончивший технический вуз: центр тяжести, метацентр, остойчивость, момент опрокидывания. Узкое судно с высоким центром тяжести неустойчиво. Надо сидеть низко, по оси, не делать резких движений, не перевешиваться через борт. Всё это он знал словами. Тело не знало ничего.

Он сел — лодка качнулась. Он вцепился в борта — лодка качнулась сильнее. Он попытался выпрямиться — и она накренилась так, что по борту плеснула вода, а Пире, сидевший на носу, взвизгнул и засмеялся. Андрей замер в какой-то нелепой позе, полусогнувшись, растопылив локти, и чувствовал, как всё его тело — каждая мышца — пытается удержать равновесие, и именно от этого равновесия не было.

Вараш с кормы сказал одно слово. Спокойно. Потом ещё раз, настойчивее. Андрей понял: сядь. Не так — ниже. Со всем.

Он опустил на дно — прямо на мокрое дерево, между

перемычками. Вытянул ноги вперёд. Руки — на колени, не на борта. Вараш сказал ещё что-то, и до Андрея дошло и это: не держись. Не держись за лодку. Лодка держит тебя. Ты — груз. Будь грузом.

Он отпустил борта. И лодка — он почувствовал это спиной, задницей, всем телом — вдруг успокоилась. Не сразу, но успокоилась, как успокаивается испуганная лошадь, когда всадник перестаёт дёргать поводья. Она покачивалась теперь сама по себе, мелко, с водой, а не с ним, и он покачивался вместе с ней.

Вараш оттолкнулся шестом от берега, и они поплыли.

Лодка шла тихо. Вараш стоял на корме — стоял, не сидел, в узкой вёрткой долблёнке, — и работал шестом: упирался в дно, толкал, перехватывал, упирался снова, мягко, почти лениво, и лодка скользила вдоль берега, где было мельче, быстро и ровно, как по рельсам. Когда дно уходило глубоко, он брал весло — короткое, широкое, одно — и грёб то с одной стороны, то с другой, и ни разу не плеснул. Позади, в двадцати шагах, шла вторая лодка: Рывыж на корме, его сын с веслом посередине, груз — горой, укрытой шкурой.

Андрей сидел на дне, как ему велели, и смотрел.

И постепенно, через час, через два, до него дошло, что это не путь по реке. Это дорога.

Он всегда думал о реках как о препятствиях: на любом объекте река — это мост, труба, охранная зона, пойма, которую не застраивают. Реку пересекают, преодолевают, об-

ходят. Реку не используют.

А здесь река была единственной дорогой, которая вообще куда-то вела. Лес по обоим берегам стоял стеной — тот самый, трудный, завальный лес, по которому он два дня продирался от ручья до поселения. По нему нельзя было нести груз. Нельзя было вести ребёнка. Нельзя было пройти за день больше, чем они сейчас проходили за час, сидя. А по воде — лодка шла сама, течение несло её, и один человек с шестом вёз троих людей и груз, который трое не унесли бы и за неделю.

Вся эта земля была устроена вдоль воды. Поселения — на реке. Родня — вниз по реке, вверх по реке. Новости, соль, железо, шкуры — по реке. Лес был тем, что между.

* * *

Он пытался вести карту.

Блокнот лежал у него на коленях, завёрнутый в полу куртки от брызг, и он отмечал: время по часам, направление реки по компасу, примерную скорость — прикидывая по берегу, — повороты. Получалась ломаная линия, уходящая на восток и понемногу — к югу. Всё правильно. Всё, как он ожидал.

Но очень скоро карта начала обрастать другим.

Пире, которому скоро надоело сидеть смирно, развлекался тем, что называл места. Всё, мимо чего они проплывали, — всё имело имя. Не как на картах — «ручей Безымянный», «урочище такое-то», — а как у людей. Вот мыс, где стоит

сухая сосна: это место, где сосна. Вот песчаная отмель: там дети с того берега купаются. Вот высокий обрыв, белый, с полосами, — туда Лапкас в молодости ходил за глиной для горшков, Пире показал на свой горшок, потом на обрыв, потом махнул рукой назад, в сторону дома. Вот тихая заводь — где отец Рывыжа поймал рыбу, большую, вот такую, Пире раскинул руки так, что чуть не вывалился, и Вараш с кормы рявкнул.

Андрей записывал. Сначала переводил в координаты: «мыс, ~3 км от поселения, азимут 110°, сухая сосна». Потом бросил и стал записывать так, как говорил Пире: «Где сосна». «Где Лапкас брал глину». «Где рыба у отца Рывыжа». Его аккуратная ломаная покрывалась не цифрами, а людьми.

* * *

Птица нырнула слева, когда они проходили длинный тихий плёс.

Крупная, тёмная, с длинной шеей, почти вся в воде, как маленькая подлодка, — Андрей заметил её, когда она уже уходила под воду: бесшумно, без всплеска, будто её втянули. Пире сказал её название и что-то добавил, серьёзно, не смеясь. Андрей не расслышал.

Он смотрел на то место, где она ушла. Круги расходились. Он машинально нажал кнопку секундомера на часах — привычка, у геодезистов всё на секундомере.

Птица вынырнула справа, у дальнего берега, — через четыре секунды. Андрей посмотрел на часы, потом на то ме-

сто, потом снова на часы. Плёт здесь был широкий — метров сто, может, больше. Четыре секунды. Сто метров под водой за четыре секунды — это двадцать пять метров в секунду, девяносто километров в час, быстрее, чем любая птица плавает, быстрее, чем любая рыба, быстрее, чем он ездил по городу.

Птица сидела на воде у того берега, неподвижно, высоко подняв голову, и, кажется, смотрела на них. Потом издала крик — долгий, тоскливый, дрожащий, почти человеческий, как будто кто-то плакал на другом конце реки, — и нырнула снова. Больше она не появилась.

Две птицы, сказал себе Андрей. Одна нырнула, другая вынырнула. Он просто не заметил вторую.

Он записал в блокнот, на правой странице: «Ныряющая птица, крупная. Нырнула — вынырнула за ~100 м через 4 с. Две птицы?» Подумал и поставил знак вопроса ещё раз.

Пире, заметив, что он пишет, заглянул в блокнот, ничего не понял, но на всякий случай серьёзно кивнул, как кивают взрослым.

* * *

Ближе к вечеру река сделала петлю, и за ней, на правом берегу, открылось место, которое Андрей, будь он на изысканиях, отметил бы сразу как лучшее для стоянки за весь день.

Пологий песчаный берег. Сухая высокая терраса над ним — ровная, открытая, с редкими соснами. Ручей, впадающий

в реку, — пресная вода, не надо черпать из мутной реки. Удобная отмель, куда можно вытащить лодки. Сухостой для костра. Солнце садилось как раз за эту террасу, и она стояла тёплая, золотая, пустая.

Вараш не повёл лодку к берегу. Он даже не замедлил. Он сдвинулся шестом на середину реки, подальше от этого пологого песка, и повёл лодку мимо — ровно, как вёл весь день, не глядя на берег. Вторая лодка, Андрей оглянулся, шла за ними тем же курсом, по середине.

— Почему? — спросил Андрей. Показал на террасу. — Там хорошо. Там... — он не знал слова «стоянка» и показал: спать, костёр. — Там хорошо!

Вараш посмотрел на берег — мельком, спокойно, как смотрят на чужой двор, мимо которого идут.

— Там не наша вода, — сказал он.

Андрей понял слова. «Там». «Не». «Наша». «Вода». Все четыре он знал. Он не понял, что они значат вместе.

Он смотрел на проплывающую террасу, на ручей, на удобный песок. Потом отвернулся и стал думать.

Не наша вода — значит, чья-то. За террасой, в лесу, жили люди, которым принадлежал этот берег, и отмель, и ручей, и, наверное, эта рыба. Река общая, по ней плыви; берег чей-то, к нему не приставай.

Он отметил на карте: «Правый берег, пологая терраса, ручей. Не причаливают. „Не наша вода“ — чужой род?»

Вараш причалил через час, когда уже смеркалось, у кру-

того, неудобного, заросшего ивняком левого берега, где пришлось вытаскивать лодки на узкую полосу глины, а сушняк для костра искать в темноте, наверху, в густом ельнике. Никто не жаловался. Андрей помогал тащить лодку, поскальзываясь на мокрой глине, и думал, что это и есть цена чужой воды: ты спишь на плохом берегу, потому что хороший — не твой.

Когда костёр разгорелся и Пире, наевшись, уснул, привалившись к Варашу, Андрей ещё раз посмотрел в темноту, туда, вниз по течению, где за поворотом осталась золотая пустая терраса.

Он так и не спросил, чья это вода. Ему казалось, что он понял.

Глава 13. Долблётка

Лодка Рывыжа треснула на второй день, в полдень, на самом простом месте.

Река сузилась, ускорилась и пошла между двумя песчаными косами, и в самой горловине, под водой, лежала коряга — старый ствол, почерневший, обросший тиной, неразличимый с поверхности. Вараш провёл свою лодку левее, над глубиной, не сбавив хода, даже не посмотрев вниз, — он знал эту корягу, как знают ступеньку в собственном доме. Рывыж взял правее. То ли не знал. То ли сын на весле подвёл нос не туда. То ли просто груза было больше и лодка сидела глубже.

Удар Андрей услышал с первой лодки: глухой, деревянный, короткий — как если бы кто-то ударил кулаком в запертую дверь. Вторая лодка дёрнулась, встала, развернулась боком к течению, Рывыж навалился на шест, сын рванул веслом, — и она сошла с коряги и пошла дальше, покачиваясь. Как будто ничего не случилось.

А через десять минут сын Рывыжа начал вычерпывать воду.

* * *

До стоянки нижних людей добрались к вечеру, почти на четверть дня раньше, чем собирались, — потому что последние часы гребли без остановки, и сын Рывыжа всё это время черпал: берестяным ковшом, быстро, ровно, не подни-

мая головы. Вода сочилась со дна у кормы, из тонкой, почти невидимой трещины вдоль волокна, — не хлестала, а именно сочилась, как слёзы. Андрей в первой лодке смотрел на это и думал: ну, трещина. Заклеить. Заделать. Замазать чем-нибудь. Пустяк.

Потом он увидел лицо Рывыжа и понял, что не пустяк.

Стоянка была на мысу, там, где в их реку впадала другая, помельче и потемнее, — несколько лёгких шалашей из жердей и коры, кострища, вешала для рыбы, лодки на песке — пять, шесть, семь, больше, чем Андрей видел за всю свою здешнюю жизнь. Это было место, куда нижние люди выходили на весеннюю рыбу за несколько дней до общего схода. Их встретили — с криками, с объятиями, с узнаванием: здесь почти все знали Вараша, многие — Рывыжа, а Пире дети с визгом утащили куда-то сразу, как только нос лодки ткнулся в песок. Какой-то пожилой мужчина, обнимая Вараша, сказал ему что-то вполголоса, коротко, — и Андрей увидел, как у Вараша на мгновение окаменело лицо и как он оглянулся туда, куда убежал Пире. И ничего не сказал.

А лодку Рывыжа, как только её разгрузили, обступили мужчины. Молча. Смотрели на трещину, как смотрят на рану.

Потом кто-то пошёл за Пёртаном.

* * *

Андрей потом долго вспоминал, как увидел его в первый раз.

Невысокий, широкий, коротконогий человек лет пятидесяти, с непомерно длинными, как у гребца, руками и с лицом, будто вырезанным тем же теслом, каким он резал лодки: крупные черты, резкие, без мелочей. На левой руке у него не хватало двух пальцев — мизинца и безымянного, — и оставшиеся три были такие толстые и такие ловкие, что Андрей не сразу это заметил. Он подошёл к лодке, не здороваясь ни с кем, будто лодка была единственным, с кем стоило здороваться, присел на корточки у кормы и положил ладонь на трещину.

Держал долго. Потом провёл вдоль неё пальцем — от кормы к середине, по волокну. Потом постучал костяшкой в нескольких местах — там, где трещина, и там, где её не было, — и слушал, склонив голову, как врач слушает грудь. Потом понюхал дерево. Потом поднялся, посмотрел на Рывыжа и что-то сказал.

Андрей уже понимал достаточно, чтобы уловить главное. Сухая. Пёртан повторил это слово дважды, и каждый раз Рывыж опускал голову всё ниже. Сухая. Держал на песке, на солнце, долго. Лодка высохла, а потом её бросили в воду, нагрузили, — и она лопнула бы и без коряги. Коряга только показала.

Потом Пёртан сказал ещё что-то, уже не Рывыжу, а всем, и Андрей увидел, как изменились лица.

Вараш потом объяснил ему у костра: если бы трещина пошла дальше — через днище, до перемычки, — лодку было

бы не спасти. Совсем. Не залатать, не заделать: дерево, треснувшее по всей длине, уже не держит. И тогда дом Рывыжа — и всё верхнее поселение вместе с ним — остался бы с одной лодкой. На всё лето. На рыбу, на сход, на дорогу вниз и вверх, на перевозку всего, что нужно перевезти до зимы. А новую лодку — Вараш показал руками: огромное дерево, много людей, долго, очень долго, — новую лодку не делают за лето. Её делают годами. Её делают из дерева, которое ищут годами.

Андрей смотрел на тонкую тёмную линию у кормы, из которой сочилась вода, и считал про себя. Одна лодка вместо двух. Вдвое меньше рыбы на сходе, вдвое меньше груза в обмен. Он вспомнил, как Увий отсыпала обратно одну горсть крупы.

Эта трещина стоила не денег. Она стоила зимы.

Потом, когда костёр прогорел и все, кроме них двоих, разошлись по шалашам, Вараш сказал ещё одно — тихо, глядя в угли. Три слова и жест. «Отец Пире». Ладонь, ударившая по голени. «Бревно». И ещё одно слово, которого Андрей не знал, но догадался по тому, как Вараш его сказал. Плохо. Очень плохо. Там, внизу, в поселении, куда они плыли.

Пире спал в соседнем шалаше, с детьми, и ничего не знал.

* * *

Пёртан взялся за дело на рассвете и возился весь день, и Андрей просидел рядом почти всё это время, потому что не

мог оторваться.

Лодку вытащили на песок, но не на сухой — у самой воды, и Пёртан всё время велел поливать её, черпая из реки: корпус не должен был высохнуть ни на минуту. Потом он смотрел на трещину, прищурившись, почти не двигаясь, — и Андрей, который сам так смотрел на сложный участок перед съёмкой, узнал этот взгляд. Он не решал, что делать. Он уже знал, что делать. Он решал, как дерево поведёт себя, когда он это сделает.

Потом он начал.

Шилом — длинным, железным, с костяной рукоятью, — Пёртан наметил по обе стороны трещины, на расстоянии пальца от неё, ряд точек. Потом взял что-то вроде маленького лука с тетивой, намотанной на тонкий стержень с острым железным концом, упёр стержень в первую точку и заработал луком взад-вперёд — стержень завертелся, зажужжал, и в дереве появилась дырочка, чистая, круглая, не больше соломинки. Потом следующая. Потом следующая. Два ряда дырочек вдоль всей трещины, как стежки.

Потом — корни. Длинные, тонкие, светлые, расщеплённые вдоль, как нитки: еловые корни, — Пёртан держал их в воде, в берестяном коробе, и они были мягкие, как ремешки. Он продевал их сквозь дырочки — с одной стороны трещины на другую, наискось, крест-накрест, — и стягивал, упираясь коленом в борт. Не туго. Андрей видел, что не туго, и сначала удивился.

Тогда он и влез со своим улучшением.

Он показал Пёртану — жёстами, словами, всем, что умел, — что стягивать надо сильнее. Намертво. И ещё — не только шить, а поставить поверх трещины снаружи поперечные полосы, бандаж, обвязать корпус вокруг верёвкой в нескольких местах, чтобы трещину сдавило со всех сторон, как сдавливают треснувшую трубу хомутом. Он даже нарисовал это палкой на песке: корпус, трещина, кольца бандажа.

Пёртан посмотрел на рисунок. Посмотрел на Андрея. Потом зачерпнул ладонью воды из реки и плеснул на борт лодки. И сказал что-то — медленно, как говорят с ребёнком, — показывая на мокрое дерево, потом разводя ладони в стороны, широко, будто что-то растёт, надувается. И снова — на рисунок Андрея, на кольца бандажа. И сжал кулак, резко, с хрустом.

Андрей смотрел на этот кулак, пока до него не дошло.

Дерево в воде разбухает. Сухое — сжимается, мокрое — растёт. Пёртан шил нетуго, потому что, когда лодка постоит в воде, дерево набухнет, и корни сами затянутся — ровно настолько, насколько нужно. А если стянуть намертво сейчас — дерево, набухая, упрётся в тугие стежки и в тугие кольца его бандажа, и полопается рядом, по новым местам, и лодка разойдётся, как бочка с перетянутыми обручами.

Андрей стёр свой рисунок ногой. Пёртан уже не смотрел на него: он растапливал на камне у огня смолу, смешанную с чем-то волокнистым, и замазывал ею стежки — тонко, ров-

но, горячей щепкой, как намазывают масло на хлеб.

* * *

Выручил он Пёртана под вечер, почти случайно.

Чтобы замазать трещину снаружи по днищу, лодку надо было перевернуть — на песке, у воды, мокрую, полную тяжести. Взялись вшестером: подсунули руки под борт, крикнули, приподняли — и опустили. Не шла. Мокрое дерево весило, наверное, как половина автомобиля, и схватиться было не за что: борт гладкий, скользкий, пальцы соскальзывали. Попробовали ещё раз. Лодка приподнялась, качнулась, и кто-то из молодых вскрикнул — чуть не прищемило руку.

Андрей огляделся. Нашёл у кострища длинную жердь — сухую, толстую, от шалаша. Нашёл обрубок бревна, на котором сидели у огня. Подкатил бревно к борту лодки, положил сверху жердь — одним концом под борт, другим вверх, к себе. И налёг.

Борт приподнялся. Легко — так легко, что шестеро мужчин вокруг замерли. Андрей подвинул бревно, перехватил жердь, налёг снова — лодка поднялась выше, встала на ребро. Он кивнул мужчинам — мол, держите, — и они подхватили, и лодка перевалилась на бок, а потом, медленно, мягко, — вверх дном, на подложенные заранее ветки.

Кто-то засмеялся. Кто-то хлопнул Андрея по спине. Сын Рывыжа, молчаливый, смотрел на жердь и бревно так, будто ему показали фокус.

Пёртан подошёл, посмотрел на бревно, на жердь, на лодку.

Взял жердь из рук Андрея, повертел. Потом сам положил её на бревно, передвинул бревно ближе к концу, дальше, снова ближе, — будто проверяя, где лучше. Нажал. Кивнул — медленно, серьёзно, как кивнул Вараш у сушилки. И сказал Андрею что-то, чего Андрей не понял целиком, — но уловил слово «рука» и слово «сила», и Пёртан поднял свою трёхпалую ладонь и показал её Андрею, и засмеялся — коротко, впервые за весь день.

Андрей стоял с горящими от стыда и удовольствия ушами. Рычаг. Архимед, дайте мне точку опоры. Ничего не стоящее знание, лежавшее в голове с двенадцати лет, как таблица умножения.

* * *

Старую лодку он заметил уже в сумерках, когда шёл от воды к костру.

Она лежала выше по берегу, у самой опушки, вверх дном, наполовину утонув в прошлогодней траве, — тёмная, почти чёрная, с провалившимся в одном месте бортом. Старая. Давно отслужившая. Её, видимо, не спускали на воду много лет, но и не бросили, не сожгли, не разрубили на дрова: она лежала здесь, как лежит в сарае у деда старый велосипед, на котором никто не ездит, но который жалко выбросить.

Андрей подошёл — зачем, он и сам не знал. Может быть, потому что весь день смотрел на лодки. Присел. Заглянул под провалившийся борт, внутрь, где было темно и пахло гнилым деревом и мокрой землёй.

И увидел знак.

Он был вырезан на внутренней стороне борта, у самого носа, там, где его не видно, пока лодка на воде и в ней сидят люди. Небольшой — в ладонь. Не узор, не украшение — именно знак: несколько коротких глубоких прорезей, сходящихся под углом, и поперечная черта, и ещё одна, короче, чуть в стороне. Как стрелка с двумя перекладами. Или как птичья лапа. Или как буква из алфавита, которого он не знал.

Андрей смотрел на него, и что-то в голове медленно, со скрипом поворачивалось, как ключ в заржавевшем замке.

Он видел это. Он где-то видел этот знак.

Музей. Ну конечно — музей. Три года назад, может быть, четыре, в командировке на Вятке, коллега затащил его в районный музей в Вятских Полянах: убить час между объектами, пока ждали машину. Андрей ходил тогда по залам со скукой, как ходят все взрослые по районным музеям: прялки, вышивки, чучела, фотографии знатных доярок. В одном зале стояла лодка. Долблёнка — старая, чёрная, найденная в реке, — и рядом на подставке снасти: сети, верши, остроги. Он тогда задержался у неё дольше, чем у всего остального, сам не зная почему. И на борту этой лодки, у носа, под стеклом, была подсвечена табличка, и там было про знаки собственности — «тиште», знаки, которыми марийцы метили своё: бортовые деревья, лодки, покосы. И рядом — вырезанный знак.

Похожий на этот? Или не похожий?

Он не помнил. Он стоял на коленях в мокрой траве у гнилой лодки на берегу реки, которой не было ни на одной карте, и пытался вспомнить подсвеченную табличку в районном музее, мимо которой прошёл четыре года назад, думая о том, успеют ли они до вечера на объект. Стрелка с двумя перекладинами? Птичья лапа? Там было несколько знаков, целый ряд. Один из них — может быть. Может быть — такой. Может быть, ему только кажется, потому что он хочет, чтобы казалось.

Он провёл пальцем по прорезям. Они были гладкие, стёртые, с закруглёнными краями — очень старые, старше этой лодки, может быть, — будто их прорезали по уже прорезанному, обновляя.

За спиной подошёл кто-то. Андрей обернулся — Пёртан. Стоял, заложив руки за спину, смотрел на старую лодку и на Андрея.

Андрей показал на знак. Спросил глазами.

Пёртан посмотрел на знак. Потом сказал одно слово — Андрей его не знал — и показал на себя. Потом назад, за плечо: раз, другой. Отец. Отец отца. И ещё раз — дальше. Потом положил свою трёхпалую ладонь на гнилой борт, как кладут руку на плечо старику, и так постоял.

Объяснять было не нужно. Это был знак рода Пёртана. Его отцов, и отцов его отцов. Лодку делал кто-то из них. И знак на ней был старше лодки.

Больше Пёртан ничего не сказал. Он повернулся и пошёл

к костру, и Андрей остался один у старой лодки, в сумерках, с чувством, для которого у него опять не было слова.

Четыре года назад в районном музее он шёл мимо долблёнки, найденной в реке, мимо знака на её борту, мимо таблички про тиште, — шёл со скукой, как мимо чужого. А теперь у него было ощущение, будто он встретил на улице незнакомого человека, у которого лицо — точно такое, как на старой фотографии в бабушкином альбоме. Кто это? Родственник? Совпадение? Просто похож?

Он не знал. Но впервые за три недели, проведённые здесь, прошлое, в которое он провалился, и музей, мимо которого он когда-то прошёл, вдруг оказались не двумя разными местами, а одним и тем же — только в разное время.

Глава 14. Затон

Утром нижние люди поплыли проверять ловушки, и Андрей попросился с ними — не столько помогать, сколько смотреть.

Ловушки стояли в протоках ниже стоянки: там, где река, разливаясь по весне, уходила в стороны узкими рукавами, заросшими ивняком, и вода в них текла медленно, тёплая, мутная, полная рыбы, идущей на нерест в травы. Плетёные из прутьев воронки, вроде той, что вёз Вараш, стояли в этих рукавах горлом против течения, укреплённые кольями, и рыба, раз зайдя внутрь, уже не находила выхода. Проверять их выходили на рассвете, пока рыба не задохнулась и не начала портиться, — четыре лодки, по двое в каждой. Андрея посадили на дно к Варашу, как вчера.

Он сразу заметил, что они идут странно.

Сначала от стоянки вниз по течению, потом — вбок, в узкую протоку, а потом, вместо того чтобы прямо пересечь широкую тихую воду, открывшуюся слева, лодки одна за другой свернули направо, в другой рукав, узкий, извилистый, с перекатами, где пришлось толкаться шестами и в двух местах вылезать и тащить лодку по мели руками. Они сделали крюк — большой, минут на сорок, — обогнули широкую воду по дуге и вышли к ловушкам с другой стороны.

А широкая вода лежала слева всё это время. Андрей смот-

рел на неё сквозь ветки.

Это была старица — старое русло, отрезанное рекой когда-то давно и превратившееся в длинное тихое озеро, соединённое с протокой узким горлом. Затон. Вода в нём стояла неподвижная, чёрная, гладкая, как стекло, и в ней отражались берёзы на том берегу — вниз головой, до последней ветки, так чётко, что нельзя было понять, где кончается дерево и начинается отражение. Ни ряби. Ни течения. Ни ветра. Посреди, почти у дальнего края, из воды торчал белый сухой ствол — затопленное дерево — с одной длинной веткой, отставленной вбок, как рука.

Через этот затон до ловушек было минут десять. Прямо, по тихой воде, без перекатов, без мелей, без таскания лодок. Андрей видел это, как видят на карте кратчайший путь.

А они шли вокруг.

* * *

Он, конечно, спросил.

Не Вараша — Вараш на такие вопросы отвечал пожатием плеч. Спросил у старшего из нижних рыбаков, седоватого, с обветренным лицом, который вёз с ними в лодке пустые корзины для улова. Показал на затон: почему не там? Там — тихо, близко. Здесь — трудно, долго.

Рыбак посмотрел на затон. Потом на Андрея. Сказал одно слово — Андрей не знал его — и покачал головой. Потом добавил: «Нельзя». Это слово Андрей знал хорошо.

Потом рыбак снова посмотрел на затон и сказал ещё что-

то — тихо, почти про себя. Андрей разобрал только имя. «Ондо». Рыбак произнёс его, глядя на белый ствол с веткой-рукой, и отвернулся.

Нельзя — потому что опасно. А опасно — потому что старица. Он видел десятки стариц на изысканиях, и про каждую знал одно и то же: вода, которая выглядит стоячей, никогда не бывает стоячей по-настоящему. Под гладкой поверхностью — глубина. Ямы, вымытые рекой, когда она ещё текла здесь. Затопленные деревья с корнями и сучьями, в которых запутается любая сеть и любой человек. На дне — ил, из которого идёт газ, и местами он пузырится, и, говорят, иногда может поднять пузырьём целую лодку и перевернуть. И главное — обратные течения. Там, где старица соединяется с живой рекой, горлом, вода закручивается: река, проходя мимо, тянет за собой воду затона, и та ходит по кругу — медленно, незаметно, но сильно, как лопасть огромной мешалки. Сверху — зеркало. Внизу — водоворот.

Вот что значило «нельзя». Люди, жившие здесь веками, знали про обратное течение, не зная слова «течение», — знали на утонувших, на перевёрнутых лодках, — и закрепили это в простом правиле: туда не ходить. А Ондо был из тех, на чьём опыте правило держалось.

Всё сходилось с тем, что он узнал про яму под порогом: правило — это знание, у которого потеряли объяснение. Он записал в блокнот, прямо в лодке, на коленях: «Затон (старица). Обходят, крюк ~40 мин вместо 10. „Нельзя“. Вероят-

но — обратное течение у горла, ямы, коряги, газ. Ондо — утонувший?»

* * *

Обратно шли тем же крюком — с полными корзинами, тяжело. День разгорался жаркий, первый по-настоящему жаркий день, какой Андрей здесь видел: солнце стояло высоко, над водой дрожал воздух, и рыба в корзинах, накрытых мокрой травой, уже к середине пути начала пахнуть.

Последней шла лодка, в которой сидел парень лет семнадцати — щуплый, быстрый, со щербатым передним зубом, тот самый, что всё утро громче всех смеялся и первым лез в воду вытаскивать ловушки. С ним — мальчишка помладше. Их лодка была перегружена: они взяли больше рыбы, чем остальные, сложили корзины горкой, и вода стояла почти у самого края бортов. Андрей видел, как парень оглядывается на корзины, на солнце, на длинную извилистую протоку впереди, — и как лицо у него становится упрямым.

У входа в протоку, там, где лодки сворачивали направо, в обход, парень свернул налево.

Что происходит, Андрей увидел не сразу. Сначала он услышал крик — с их собственной лодки, где Вараш вдруг перестал грести и встал во весь рост, — а потом увидел: последняя лодка, тяжёлая, осевшая, медленно входила в горло затона, в чёрную зеркальную воду, прямо к белому стволу с веткой-рукой. Парень работал веслом широко, сильно, торопясь: десять минут — и они у стоянки, рыба свежая, все

остальные ещё в протоке. Мальчишка на носу обернулся и что-то кричал ему, а парень отмахнулся.

Рыбаки с других лодок кричали. Седоватый, что сидел с Андреем, вскочил, лодка закачалась, Вараш рявкнул, и тот сел.

А лодка в затоне прошла, может быть, три длины. Может быть, четыре.

Андрей увидел, как её повело. Не резко — мягко, будто кто-то невидимый взял её за корму и потянул в сторону. Парень ударил веслом — лодка не послушалась. Её разворачивало. Бортом к горлу. Кормой к белому стволу. Вода вокруг неё по-прежнему была гладкая, зеркальная, в ней по-прежнему отражались берёзы, — но лодка двигалась по этой зеркальной воде, как по невидимой карусели, всё быстрее, по дуге, в сторону ствола, против того, куда грёб парень. Мальчишка на носу схватился за борта. Корзина с рыбой съехала, лодка черпнула бортом, и Андрей увидел, как парень, вскочив, чтобы удержать корзину, потерял равновесие и боком, мягко, почти лениво, ушёл в чёрную воду.

И не вынырнул.

Одну секунду. Две. Три.

Вынырнул — метрах в пяти от лодки, дальше от горла, ближе к стволу, — и его голова пошла по той же дуге, что и лодка, по той же невидимой карусели, — и он бил руками, и не мог выгрести, и снова ушёл под воду.

* * *

Спасли его так, как, наверное, спасали людей из этой воды всегда.

Две лодки — их с Варашем и лодка седоватого рыбака — подошли к самому горлу затона, но не вошли в него. Остановились у края, там, где чёрная гладь переходила в живую рябь протоки. Седоватый уже разматывал верёвку — толстую, длинную, с петлёй. Вараш вытащил из-под перемычки шест — длинный, самый длинный, какой был. Андрей, сам не понимая, что делает, схватился за борт, чтобы лодку не качнуло, когда Вараш встал.

Голова парня показалась снова — ближе. Карусель вынесла его на новый круг, и круг прошёл мимо горла, в нескольких метрах от них. Седоватый бросил верёвку — не попал. Вараш протянул шест — мимо. Парень ушёл под воду.

На следующем круге он вынырнул прямо у шеста. Вцепился. Вараш упёрся ногами в дно лодки так, что она накренилась и Андрей чуть не вылетел, — и потянул. Седоватый накинуд петлю парню на плечо, на руку, — и вдвоём, в четыре руки, они выдернули его из зеркальной воды в живую, как выдёргивают из болота корову, и перевалили через борт седоватого, мокрого, синего, кашляющего, с водой изо рта и носа.

Мальчишка из его лодки всё это время сидел на носу, вцепившись в борта, и лодка без гребца медленно ходила по кругу — пустая, осевшая, с перевёрнутыми корзинами. Её зацепили багром и вытянули последней. Половина рыбы ушла в

чёрную воду.

На берегу, у стоянки, парня положили на бок и били по спине, пока он не выкашлял всё. Потом он сел, обхватив колени, и трясся — от холода, хотя день был жаркий, и от того, от чего трясутся после. И тогда к нему подошёл седоватый — тот, что утром сказал Андрею «нельзя» и назвал имя, — и, не говоря ни слова, ударил его по лицу. Раскрытой ладонью, наотмашь, так что голова мотнулась.

И только после этого сказал. Коротко. Андрей снова разобрал только одно слово — то же имя. «Ондо». И жест: седоватый ткнул пальцем туда, в затон, в белый ствол, — и в грудь парню. Раз, другой.

Парень опустил голову.

Андрей стоял рядом, мокрый по пояс — он и сам не заметил, когда успел намокнуть, — и смотрел на затон. Затон лежал такой же, как утром: зеркальный, неподвижный, с перевёрнутыми берёзами. На нём не осталось даже ряби.

Ему было немного стыдно за это при мокром синем парне, но всё случилось ровно так, как он думал. Обратное течение, круговорот в горле старицы: сверху зеркало, внизу мешалка. Никакой мистики. Гидрология.

Он записал в блокнот, рядом с утренней записью, одно слово: «Подтверждено».

* * *

Вечером он пошёл вдоль берега.

Хотел посмотреть горло затона сверху, с берега, — по-

нять, как оно устроено. Где сужение, какая глубина, есть ли видимая граница между стоячей водой и живой. Он был геодезист, и в нём зудело то же, что зудит в любом специалисте, когда он видит интересное явление: снять. Измерить. Нарисовать. Утром, из лодки, крюк до затона занял около часа — он проверил по часам; протоки петляли, шли с перекатами. По берегу, прикинул он, напрямик через мысок, — полчаса, может быть, минут сорок.

Он пошёл вниз вдоль реки, потом свернул по краю протоки в ивняк. Тропы не было, но было светло, и идти было легко — песок, трава, редкие кусты. Он шёл и считал шаги по привычке.

На восьмисотом шаге — через двенадцать минут, он посмотрел на часы — ивняк расступился, и перед ним лежал затон.

Чёрная гладь. Перевернутые берёзы. Белый ствол с веткой-рукой — там же, где утром, почти у дальнего края.

Андрей остановился.

Двенадцать минут. Пятьсот метров, если по шагам. От стоянки. Утром на лодке — час. Протоки петляют, да; с перекатами, да; но не в пять раз. Он обернулся — сквозь ивняк, совсем близко, за спиной, виднелся дым стоянки, слышались голоса и стук. Стоянка была там, где он её оставил. Затон был здесь. И между ними было двенадцать минут.

Он достал компас. Он шёл на юго-восток — от стоянки вниз по течению. Утром лодки уходили на юго-восток, потом

направо, в протоку, по дуге, и выходили к затону с юга. Затон должен был быть дальше. Много дальше. Не здесь.

Он стоял на берегу, и у него неприятно холодела спина.

Может быть, он ошибся утром. Может быть, лодки шли не туда, куда он думал, — сидя на дне, на коленях, с блокнотом, он не мог видеть всего; протоки могли вернуть их назад, почти к самой стоянке, и он этого не заметил. Может быть, это другой затон — мало ли стариц в пойме. Может быть, белый ствол с веткой — не тот белый ствол; мало ли сухих деревьев в воде.

Он смотрел на ветку-руку. Она была та же. Он видел её утром десять минут подряд, из лодки, сквозь ветки, и видел, как карусель несла мимо неё голову парня.

Может быть, он просто устал. Жаркий день, страшное утро, полдня мокрый, толком не ел. Стресс делает с восприятием расстояний всё что угодно: он сам в тумане не нашёл дом в двадцати шагах.

Он развернулся и пошёл назад — медленно, считая шаги, глядя на часы.

До стоянки было восемьсот сорок шагов. Тринадцать минут.

Вечером, у костра, при свете огня, он открыл блокнот, нашёл утреннюю запись — «крюк ~40 мин вместо 10» — и слово «Подтверждено». Долго смотрел. Потом на правой странице, под «Не сходится», написал: «Затон. Утром на лодке до него — ~1 ч. Вечером пешком от стоянки — 12 мин (800

шагов, ЮВ). Тот же (ствол с веткой). Утром ошибся с направлением? Стресс?»

И ниже — отдельно, крупнее, как пишут вещи, в которых не уверены, но которые нельзя не записать:

«Течение — подтверждено. Расстояние — нет».

Глава 15. Две ложки

Нижнее поселение стояло не на высоком берегу, как верхнее, а на длинной пологой гриве над широкой поймой, и было больше: Андрей насчитал одиннадцать домов, потом ещё два, дальше, за оградой. Лодки лежали на берегу рядами. Над поймой, над водой, над всем висел запах дыма и рыбы — густой, сытный, праздничный: шла большая рыба, и здесь её коптили, похоже, в каждом дворе.

Их встретили так же, как на стоянке, — с криками, с узнаванием, — но Андрей уже на берегу заметил, что говорят здесь иначе.

Не другой язык — тот же. Он понимал здесь столько же слов, сколько наверху, может быть, чуть меньше. Но звучал этот язык по-другому, как звучит русский у человека из Вологды для человека из Краснодара. Какой-то гласный в середине слов здесь тянули дольше и глубже. «Нет» говорили другим словом — коротким, с придыханием. На приветствие отвечали иначе. А одно слово, которое наверху значило «вода», здесь — Андрей переспросил дважды — звучало почти как бабушкино «вюд». Почти совсем как бабушкино. Ближе, чем у Вараша.

Он записал это в блокнот, в словарь, пометив: «низ». И поставил рядом три восклицательных знака, потому что не знал, что с этим делать.

Пире убежал, как только лодка коснулась песка. Андрей видел, как он мчится вверх по гриве, к одному из домов, — и как у порога этого дома его встречает женщина, молодая, с младенцем на руках, и останавливает, и присаживается перед ним на корточки, и говорит что-то, держа его за плечи. И как Пире вырывается и ныряет в дом.

Вараш пошёл за ним — медленно, как ходят туда, куда не хочется.

Андрей не пошёл. Он остался у лодок, помогал разгружать и смотрел на тот дом издали. Через некоторое время из дома вышла женщина лет сорока, сухая, быстрая, с плетёной корзиной на локте, сказала что-то молодой — та кивнула — и ушла по гриве, не оглядываясь. Потом вышел Вараш. Постоял у порога. Потом сел на бревно у стены, положил локти на колени и долго сидел, глядя на реку.

Вечером Андрей узнал — не всё, но достаточно. Отец Пире лежал в доме уже девятый день. Бревно, когда тащили лодку на катках весной, соскочило с катка и ударило его по голени. Кость — Вараш показал ребром ладони по своей ноге и сломал в воздухе невидимую палку. И нога — Вараш не стал показывать, только поморщился.

Андрей заглянул в тот дом на следующий день, на минуту, вместе с Варашем, — и сразу понял то, чего не понимали здесь, или понимали, но не так.

Нога лежала на свёрнутой шкуре, обмотанная тряпками и

травой, и из-под тряпок пахло. Сладковато, тяжело, так, что хотелось отступить к двери. Кожа выше повязки, до колена, была багровой, глянцевой, натянутой, и по ней вверх, к бедру, шли красные полосы, как трещины. Мужчина — худой, темноволосый, с тем же разрезом глаз, что у Пире, — лежал с закрытыми глазами, и лицо у него было серое, мокрое, а губы потрескались. Пире сидел у его головы и держал его за руку, и не плакал. Молодая женщина качала младенца у огня.

Андрей стоял у двери и знал слова. Открытый перелом. Инфекция. Флегмона. Сепсис — эти красные полосы вверх по бедру, это же лимфангит, это значит, инфекция идёт в кровь. Он знал это из какого-то курса первой помощи, из какой-то телепередачи, из того, как умирал от гангрены диабет его сосед по лестничной клетке. Он знал, что нужно: хирург, чистка раны, антибиотики внутривенно, может быть — ампутация, пока не поздно. Может быть, уже поздно.

Ничего этого здесь не было. Ни хирурга, ни антибиотиков, ни ампутации — то есть ампутацию, наверное, можно было сделать топором, но он не знал как, и никто здесь, наверное, не знал, и человек в таком состоянии, скорее всего, умер бы от шока и кровопотери прямо под топором.

Он знал всё — и не мог ничего. Это было новое чувство. Раньше его незнание здесь было просто незнанием: он не умел колоть дрова, шить обувь, читать след. Сейчас было хуже. Сейчас он знал, что будет, знал названия того, что проис-

ходит, знал, как это лечат там, — и это знание было таким же бесполезным, как две тысячи сто рублей у него в бумажнике.

Он вышел на воздух и долго стоял у реки.

* * *

Жили они у старухи Шоныви — Вараш сказал, что она сестра его бабки, той, что была родом отсюда. Дом её стоял на краю поселения, последним на гриве, у самого спуска к пойме, и рядом с домом, в трёх шагах от порога, рос старый вяз — огромный, кряжистый, с корой, изрезанной глубокими трещинами, и с дуплом у самых корней, куда поместился бы пёс. Ветви у него были толстые, раскидистые, а одна, нижняя, давно засохла и торчала вбок, голая и серая.

Шоныви была маленькая, высохшая, быстрая, с лицом, изрезанным морщинами, как кора её вяза, и с живыми тёмными глазами. Она была стара — старше, наверное, всех, кого Андрей здесь видел, старше Лапкаса, — но двигалась так, будто старость была её мелким неудобством, вроде занозы. Андрея она приняла без удивления. Посмотрела на него снизу вверх — она едва доставала ему до плеча, — долго, внимательно, дольше, чем смотрели другие. Потом сказала что-то Варашу, и Вараш ответил, и Шоныви кивнула и пошла к очагу. И больше на Андрея особого внимания не обращала — как не обращают внимания на новую вещь, которую приняли в дом.

Утром она варила кашу.

Андрей сидел на пороге, потому что внутри было дымно,

и видел всё. Шоныви сняла горшок с огня, как Увий, — двумя палками. Страхнула первую ложку в огонь — так же, как Увий; он уже знал этот жест и почти не заметил его. Разложила кашу по мискам — ему, Варашу, себе, — не на донышке, а поровну: здесь, внизу, после большой рыбы, еды было больше.

А потом взяла ещё одну миску. Нет — не миску: плоский кусок коры, чистый, светлый, свежий. И положила на него кашу. Одну ложку. Потом, помедлив, — вторую. Рядом, отдельно, чтобы не слиплись. Две аккуратные горки на куске коры.

И понесла к вязу.

Андрей смотрел. Шоныви присела у корней — там, где у самого ствола, в развилке двух толстых корней, было что-то вроде ровной площадки, вытоптанной, чистой, будто её мели. Положила кору с двумя горками каши. Поправила — так, чтобы горки лежали ровно, рядом. Постояла на коленях. Губы у неё шевелились — недолго, пару слов. Потом она поднялась, опершись рукой о ствол, и пошла обратно к дому, не оглядываясь.

Две ложки каши у корней старого вяза.

* * *

— Зачем? — спросил Андрей у Вараша. Показал на вяз.

Вараш ел кашу. Посмотрел туда, куда показал Андрей, — мельком, без интереса, — и снова опустил глаза в миску.

— Её дело, — сказал он.

Это Андрей понял. Её дело. Не моё. Не спрашивай.

Днём, помогая Варашу развешивать рыбу, он спросил про другое — про мужа Шоныви. Где он? Вараш ответил жестом, который Андрей уже знал: ладонь плашмя к земле. Давно. Вараш показал на себя, а потом ладонью у колена, низко: я был вот таким. Давно.

Ну конечно, подумал Андрей. Вдова ставит кашу мужу. Каждый день, много лет. Как бабушка ставила рюмку водки с куском хлеба в годовщину деда, а на вопросы отвечала: «Так надо». Люди везде и всегда кормили своих мёртвых, потому что им невыносимо было думать, что мёртвые голодны.

Смущало только одно. Две ложки.

Мужу — одна. А вторая кому? Двойная порция от щедрости; или для свекрови, для умершего ребёнка; или просто так кладут — две. Он решил, что это неважно, и записал: «Шоныви — две ложки каши у вяза каждое утро. Муж умер давно. Поминание. Две — почему?»

* * *

Ночью он проснулся — от холода, от тишины, от чего-то.

В доме было темно, угли едва тлели, все спали. Дверь была закрыта, но не на брус — обычная ночь. Андрей полежал, прислушиваясь, потом поднялся — осторожно, пригнувшись, чтобы не удариться о балку, — и вышел наружу. Ему было нужно, и ему не спалось.

Ночь была ясная, безлунная, звёздная. Над поймой лежал лёгкий туман, белесый в звёздном свете. Поселение спало.

Даже собаки молчали.

Он сделал несколько шагов от порога — и остановился.

У вяза кто-то стоял.

Мужчина. Андрей видел его ясно — ясно настолько, насколько вообще можно видеть при звёздах: тёмный силуэт на фоне светлого тумана, у самых корней, у той площадки, где утром Шоныви оставила кашу. Невысокий, сутуловатый, в чём-то длинном, до колен, — такая же рубаха, как у всех здесь, только, кажется, светлее. Он стоял спиной к Андрею, чуть наклонив голову, и смотрел вниз, на корни. Будто что-то рассматривал там. Или ждал.

Андрей не двигался. Сосед, подумал он. Кто-то из соседей вышел, как и он, ночью. Или вор — пришёл за кашей? За кашей не ходят воры. Сосед. Бессонница. Мало ли.

Человек у вяза медленно повернул голову — не всем телом, только головой, — и посмотрел на Андрея.

Лица Андрей не видел. Было слишком темно. Он видел только, что человек повернул голову к нему и смотрит. И что это старик: по тому, как он держал плечи, по седине, которая чуть светилась в темноте, как у Шемвуя.

Старик сказал — негромко, ровно, без удивления, как говорят с соседом, которого встретили у колодца:

— Я здесь.

Слова были простые, Андрей знал оба.

Старик помолчал. Потом добавил — так же ровно:

— Ты не здешний.

И отвернулся. Снова наклонил голову к корням, к тому месту, где лежала кора с кашей. И больше не двигался.

Андрей стоял долго. Может быть, минуту. Может быть, пять. Сердце колотилось не от страха — страха почему-то не было, — а от какой-то странной, щекочущей неловкости, как если бы он вломился без стука в чужую комнату, где кто-то молится. Потом он медленно, пятась, вернулся к порогу, нашарил за спиной дверь, вошёл, лёг на своё место и долго лежал с открытыми глазами, слушая, как за стеной ничего не происходит.

Шоныви в глубине дома дышала ровно, спокойно, как спят старые люди, у которых всё в порядке. Она не проснулась. Она не вышла.

* * *

Утром он первым делом пошёл к вязу.

Кора лежала на площадке у корней. На ней — одна горка каши, аккуратная, нетронутая, чуть подсохшая сверху. Второй не было. На коре, там, где она лежала, осталось только влажное пятно и несколько прилипших крупинок.

Собака, подумал Андрей. Ночью пришла собака и съела одну ложку. Он огляделся — следов не было видно, земля у корней была утоптанная, твёрдая. А почему одну, а не обе? Потому что наелась. Потому что спугнули. Потому что... Он посмотрел на оставшуюся горку. Собака, которая съедает одну из двух одинаковых порций, лежащих рядом, и оставляет вторую, — это была странная собака.

Он вернулся к дому. Шоныви уже сидела у огня и варила кашу. Он посмотрел на неё — она подняла на него свои живые тёмные глаза, и в них не было ни вопроса, ни удивления. Будто она знала, что он выходил ночью. Будто знала, кого он видел. И это было для неё так же обыкновенно, как то, что утром встаёт солнце.

Потом она сняла горшок с огня, стряхнула первую ложку в угли, разложила кашу по мискам, взяла чистый кусок коры, положила на него — одну ложку, вторую — и понесла к вязу. Старую кору, с засохшей нетронутой горкой, она подняла, счистила остаток каши пальцем в траву у ствола и унесла в дом — на растопку.

И положила новую. Снова две.

Андрей сидел на пороге с миской на коленях и смотрел, как она устраивает две свежие горки на новой коре, ровно, рядом, чтобы не слиплись.

Муж — одна, думал он. Муж умер давно, вдова его кормит. Понятно. Трогательно. Старо, как мир.

А вторая?

Он не спросил. «Её дело». Он записал в блокнот, под вчерашней записью: «Утром — одна ложка съедена, вторая целая. Снова положила две». И добавил, помедлив: «Старик ночью у вяза: „Я здесь. Ты не здешний“. Сосед?»

Потом зачеркнул вопросительный знак после «Сосед». Потом поставил его снова.

Глава 16. Женщина, которая лечит словами

Пятку Вараш показал ей сам. Утром, без предупреждения, взял Андрея за локоть и повёл вдоль гривы, к дому у самой воды, над которым вместо дыма висел густой запах трав.

Андрей узнал её сразу — ту сухую быструю женщину с корзиной, что выходила вчера из дома отца Пире. Ошви. Так её назвал Вараш, и так её звали, похоже, все, кто стоял у её порога: к дому уже с утра тянулись люди. Женщина с ребёнком на руках. Старик, опирающийся на дочь. Двое мужчин, принёсших на руках третьего.

Дом у неё был такой же, как все, — только тесный от развешанного. С каждой балки, с каждой жерди, с верёвок, протянутых поперёк, свисали пучки: травы, корни, какие-то сморщенные грибы на нитке, кора, связки сухих ягод. Пахло так густо, что у Андрея заслезились глаза. На полу у очага стояли горшки — маленькие, плотно закрытые, — и берестяные туеса, и один большой горшок кипел над огнём, выпуская горький пар.

Ошви на Андрея посмотрела не так, как смотрели другие. Другие смотрели на куртку, на обувь, на лицо — на то, что в нём чужое. Ошви посмотрела так, как смотрят на больного, которого привели: быстро, цепко, с головы до ног — и мимо, будто за ним, вокруг него. Потом подошла вплотную.

Положила ладонь ему на лоб. Поддержала. Понюхала волосы — Андрей дёрнулся, она придержала его за подбородок, как держат коня. Посмотрела в глаза, оттянув нижнее веко большим пальцем. Потом присела, взяла его руку и перевернула ладонью вверх, будто что-то там искала.

Потом спросила что-то у Вараша, коротко, и Вараш ответил — длинно. Андрей уловил в его ответе «липы» и «лента», и «ручей», и то слово, каким в первый вечер называли его на входе в поселение, — «без места».

Ошви выслушала. Снова посмотрела на Андрея. И сказала — не Варашу, а ему, медленно, отдельно, будто понимала, что он её не поймёт, если быстро:

— Земля тебя не знает.

Андрей понял все три слова. Смысл — нет.

Ошви, кажется, и не ждала, что он поймёт. Она уже стояла у его ноги.

* * *

Мох Вараша она сняла с брезгливой гримасой, как снимают с пальца чужую грязную повязку. Посмотрела на пятку. Понюхала. Надавила пальцем — Андрей зашипел сквозь зубы, — и из-под корки, из-под красного воспалённого края, выступило жёлтое.

Ошви сказала Варашу что-то короткое и насмешливое. Вараш отвернулся.

Андрей не знал, как это называется здесь, но понимал, что она собирается делать. Она взяла тонкий нож — маленький,

с узким лезвием, почти шило, — подержала лезвие в огне, пока оно не почернело, дала остыть. Взяла Андрея за щиколотку — крепко, неожиданно сильной рукой. И быстро, одним движением, надрезала вздувшееся место у края раны.

Он не закричал только потому, что не успел. Боль пришла через секунду — острая, белая, до затылка, — и сразу, почти одновременно с ней, — облегчение: будто вынули гвоздь, который неделю сидел в пятке. Ошви давила пальцами — от краёв к надрезу, — и выдавливала гной, и вытирала тряпицей, и давила снова, пока не пошла чистая кровь. Потом промыла — тёплой водой из горшка, где плавали какие-то тёмные кусочки коры, горькой даже на запах, — промыла раз, другой, третий. Потом взяла что-то из маленького горшка, густое, прозрачное, золотистое, пахнущее сосной, — смолу, еловую или сосновую живицу, — и намазала рану. Сверху положила лист — широкий, с прожилками. Сверху — чистую тряпицу. И замотала — туго, ровно, быстро, так же, как Вараш в первый день, но лучше.

Всё это заняло меньше времени, чем занимает запись к хирургу в поликлинике.

Андрей сидел, мокрый от пота, с горящей пяткой, и думал, что только что увидел вскрытие абсцесса. С дренажом. С промыванием дубильным отваром — это кора, наверняка дуб или что-то вроде: танины, вяжущее, противовоспалительное. С антисептической смолой — живицей, которая, он где-то читал, действительно убивает бактерии. Под листом

— подорожник, наверное, или что-то похожее. Ни одного заклинания. Ни одного шёпота. Ничего, кроме грубой, точной, правильной хирургии, сделанной женщиной, которая ни разу в жизни не слышала слова «бактерия».

Он посмотрел на Ошви с уважением. Она на него не посмотрела вовсе: вытирала нож.

* * *

Пока он сидел у стены, приходя в себя, в дом внесли парня.

Андрей узнал его сразу — по щербатому зубу, по щуплым плечам. Тот самый, из затона. Его несли двое, а он дрожал так, что стучали зубы, и глаза у него были мутные, красные. Жар — Андрей видел это без всякой руки на лбу: лицо пылало, губы сухие. Мать, шедшая следом, говорила быстро, взахлёб, и Андрей ловил знакомые слова: «вода», «ночь», «не спит», «кричит».

Он ждал, что Ошви сделает то же, что с ним: пощупает, надавит, посмотрит в глаза, заставит открыть рот. Она не стала.

Она села перед парнем на корточки и стала спрашивать.

Андрей не понимал вопросов — понимал только слова в них, отдельные, как камни в быстрой воде, и понимал, о чём они. Не где болит. Не давно ли. Не что ел. Где был. Какая вода. Какой берег. Далеко ли в воду. Под водой — долго? Что видел под водой. Что слышал.

На этом вопросе парень, который до того отвечал вяло,

сквозь дрожь, вдруг замолчал. Посмотрел на Ошви. Потом на мать. Потом сказал — тихо, почти шёпотом — несколько слов, и одно из них Андрей узнал, потому что это было имя. Его собственное — парня. Он слышал там, под водой, своё имя.

Мать охнула и закрыла рот ладонью.

Ошви ничего не сказала. Кивнула. Встала, взяла из угла пучок какой-то травы, подожгла от очага, дала разгореться и задула — и повела дымящимся пучком над головой парня, над плечами, над грудью. Потом зачерпнула ковшом воды, набрала в рот и, резко, с силой, брызнула ему в лицо. Парень вздрогнул. А Ошви заговорила.

Это было недолго. Ровно, быстро, отчётливо, почти без интонации — не пение, не молитва, а что-то вроде перечисления, как перечисляют пункты договора. Андрей узнал в потоке слов «вода», «уходи», «туда», «рыба», «камень», «сухой». И ещё одно слово, которое повторялось в конце, дважды, — «тогда».

Потом она сказала то же самое ещё раз, слово в слово. И в третий раз. И в конце третьего раза плюнула — не в парня, а на землю, у порога, — и растёрла плевков ногой.

И всё.

Парня увели. Мать, уходя, всё оглядывалась на Ошви, а Ошви уже снимала с огня горький горшок и не оглядывалась.

Андрей потом, вечером, вытянул у Вараша смысл того, что она говорила, — насколько Вараш вообще понимал и со-

глашался объяснять. Не всё. Но суть. Ошви велела тому, что пристало к парню в воде, уйти назад — в ту воду, откуда пришло, — и вернуться только тогда, когда рыба пройдёт по сухому камню и оставит на нём след.

Рыба. По сухому камню. След.

Смысл дошёл не сразу, а когда дошёл, Андрей засмеялся бы, если бы не было так странно. Логическая ловушка: «возвращайся, когда рыба оставит след на сухом камне» — то есть не возвращайся никогда, но сказано так, что нарушить условие невозможно в принципе. Дверь, закрытая на замок, ключ от которого не существует.

Он записал это в блокнот, почти дословно, и долго смотрел на запись.

* * *

Старика привели последним.

Он был высокий, худой, с белой бородой, опирался на плечо дочери — женщины лет сорока, усталой, с тёмными кругами под глазами, — и шёл медленно, но твёрдо, не как больной. Он ни на что не жаловался. Дочь говорила за него, а он стоял, вежливо улыбаясь, и смотрел по сторонам с любопытством, как гость в новом доме.

Потом он повернулся к дочери и сказал ей что-то ласковое, и назвал её по имени. Дочь закрыла глаза. Ошви быстро взглянула на неё. Что случилось, Андрей узнал потом: старик назвал дочь именем её бабки. Своей матери. Давно умершей.

Потом он сказал что-то про весну — что весна в этом году ранняя, хорошая, лёд сошёл рано. Дочь что-то тихо ответила. Старик нахмурился, покачал головой, повторил своё. О чём спор, Андрей узнал позже, от Вараша: старик говорил о весне, которая была много лет назад. О той, когда он был молодым. Он был уверен, что сейчас — та весна.

Андрей смотрел на него и думал: деменция. Альцгеймер. Сенильная спутанность. Его собственная прабабка — бабушкина мать — в последние годы называла бабушку именем своей сестры и была уверена, что на дворе пятьдесят какой-то год и надо идти на ферму. Это было грустно, но понятно. Обычная старость. От этого нет лекарства. Даже там, откуда он пришёл.

Ошви подошла к старику. Посмотрела ему в лицо — долго. Взяла его руку, так же, как брала руку Андрея, ладонью вверх, и посмотрела на ладонь. Положила руку ему на лоб, подержала. Понюхала волосы. И отступила.

И сказала дочери — коротко, твёрдо — то, что Андрей разобрал до последнего слова:

— Это не ко мне.

Дочь заговорила — быстро, умоляюще. Ошви слушала, не перебивая. Потом сказала ещё что-то. Андрей разобрал: «У него ничего нет». И потом — фразу, которую он не понял до конца, но которую Вараш вечером повторил ему, медленно, дважды, потому что Андрей попросил: «С ним что-то не так. Не в нём».

Дочь увела старика. Старик на прощание вежливо кивнул Ошви, как хозяйке, у которой погостил. Ошви смотрела им вслед, пока они не ушли за соседний дом. И лицо у неё было — Андрей не сразу подобрал слово — озадаченное. Не злое, не жалостливое. Озадаченное, как у мастера, которому принесли вещь, сломанную непонятно как.

Андрей решил, что понял. Ошви честно отказалась лечить то, что не лечится. Старость — не болезнь, от неё нет трав. Правильный, трезвый поступок.

Но «не в нём, а с ним» — что это значило, он не знал.

* * *

Он не удержался. Когда поток людей иссяк и Ошви присела у очага, выбирая из корзины травы, он подсел к ней и начал спрашивать.

Про парня. Почему он поправится — если поправится? Трава, которую жгли, — что это? Дым — зачем? Вода из рта — зачем? Слова — что они делают? Если он поправится — как узнать, что от слов, а не от того, что жар просто спадёт сам, — у молодых так бывает, переохлаждение, стресс, два-три дня, и всё проходит? Надо, чтобы одного лечили словами, а другого — нет, и посмотреть, кто быстрее...

Он говорил это, конечно, не так. У него было сто с небольшим слов, и половина из них — «вода», «рыба», «дом». Он тыкал пальцем, показывал руками, повторял «почему?» — это слово он знал хорошо, — и «откуда знаешь?», и снова «почему». Он делал то, что делал всю жизнь с любым непо-

нятным явлением: требовал доказательств.

Ошви слушала — сначала терпеливо, потом с растущим раздражением. Андрей видел, как у неё сжимаются губы. На каком-то «почему» она отложила траву. Посмотрела на него.

Потом взяла со стола свой узкий нож — тот самый, которым вскрывала ему пятку. Показала ему. Провела лезвием, не касаясь, над своим запястьем — будто режет. Потом зажала запястье другой рукой — будто держит кровь. И сказала, медленно, простыми словами, каждое из которых он знал:

— Нож режет. Кровь идёт. Ты что делаешь? Перевязываешь. — Она показала, как заматывает руку. — А ты — сидишь и спрашиваешь: почему нож режет?

Она положила нож и вернулась к траве.

Андрей сидел, и у него горели уши. Он хотел возразить: без «почему» нет никакой науки, люди до сих пор лечили бы кровопусканием и лягушками; именно потому, что кто-то когда-то спросил «почему», в его мире есть антибиотики и отец Пире не умер бы от открытого перелома.

Но у него не было слов, чтобы это сказать. А главное — отец Пире умирал здесь, а не там. И здесь «почему» не спасло бы ему ногу.

* * *

Вечером Ошви пошла в дом отца Пире, и Андрей пошёл за ней — сам не зная зачем.

Внутри пахло ещё хуже, чем вчера. Отец Пире больше не открывал глаз. Дышал часто, мелко, с присвистом. Молодая

жена сидела у огня и не качала младенца — просто держала, глядя в угли. Пире сидел там же, где вчера, у головы отца, и держал его руку. Судя по всему, он сидел так весь день.

Ошви развязала повязку на ноге, посмотрела, понюхала — и завязала снова. Не стала ничего промывать, ничего мазать. Не стала жечь траву, брызгать водой, говорить. Встала, отозвала Вараша к двери и сказала ему несколько слов — тихо, но Андрей стоял рядом и разобрал всё.

— Это не заговорить. Это — нога. Просто нога.

Вараш кивнул. Он, кажется, и так знал.

Пире клевал носом. Весь день у отца, ночь, наверное, тоже. Голова у него падала на грудь, он вздрагивал и снова выпрямлялся, и снова падала, и он снова выпрямлялся, и держал руку отца.

Андрей подошёл. Присел рядом. Положил ему ладонь на голову — на жёсткие неровные волосы, — как когда-то клала ему бабушка. И сказал, сам не думая, как говорят то, что сидит где-то на самом дне:

— Спи. Я посторожу.

Сказал по-марийски. Бабушкиными словами — теми самыми, с двумя короткими волнами и одной длинной, с подъёмом голоса в конце. Первый раз в жизни сказал их сам.

Пире поднял на него сонные глаза. Посмотрел, не понимая, — или понимая, но не до конца. Потом, помедлив, отпустил руку отца, лёг прямо там, у изголовья, свернувшись на шкуре, — и почти сразу уснул.

А за спиной у Андрея стало очень тихо.

Он обернулся. Ошви стояла у двери и смотрела на него. Не так, как утром, — не на больного. Иначе. Так, будто он заговорил голосом кого-то, кого она давно знала.

Она подошла. Спросила — тихо, с нажимом:

— Кто тебя научил так говорить?

Вопрос был простой. Ответ у него был один.

— Кова, — сказал он. Бабушка.

Ошви смотрела на него. Потом медленно покачала головой.

— Так говорят старые, — сказала она. И помолчала. — Но не так.

Андрей растерялся. Не так — что? Не так произносят? Не так строят? Не так — что?

Ошви не стала объяснять. Она отвернулась, подобрала свою корзину и вышла. А Андрей остался сидеть у изголовья умирающего, рядом со спящим мальчиком, — сторожить, раз уж обещал.

* * *

Утром, по дороге к реке, он встретил парня из затона.

Тот сидел у своего дома на бревне, закутанный в шкуру, бледный, с тёмными кругами под глазами, — но сидел. Не дрожал. Глаза были ясные. Он узнал Андрея, кивнул ему и даже, кажется, попытался улыбнуться своим щербатым ртом.

Андрей прикинул. Вчера утром жар, озноб, бред; сего-

дня сидит, ясные глаза. Меньше суток. Переохлаждение со стрессом — могло пройти и так. Что-то серьёзное — не могло. Молодой организм, отвар, покой, плацебо. Он перебрал всё это, стоя на тропинке, аккуратно, по пунктам.

И признал про себя, честно, как признают на объекте ошибку в расчётах: она работает. То, что делает Ошви, — работает. Пятка у него сегодня почти не болела. Парень сидел на бревне. Старика она не взяла, а отца Пире не стала заговаривать, — и в обоих случаях, как он понимал, была права.

Работает. Вот только почему — он не верил её объяснению. Ни дыму, ни воде изо рта, ни рыбе на сухом камне.

Он спустился к реке, умылся, и уже поднимаясь обратно, поймал себя на мысли, которая ему совсем не понравилась. Он всё утро перечислял, почему это не может быть от слов. И ни разу — ни разу за всё утро — не подумал о том, что бы он делал, если бы Ошви отказалась лечить его пятку.

Глава 17. Вернувшийся муж

Ошви велела прийти на следующий день — сменить повязку, — и Андрей пришёл рано, пока у порога никого не было. Она размотала тряпицу, понюхала, посмотрела, хмыкнула — кажется, довольно, — намазала свежей смолой, положила свежий лист, замотала. Ни одного лишнего движения. Ни одного лишнего слова. Он сидел у стены и пытался придумать, как спросить её про вчерашнее — про «не так», — и не мог сложить вопрос из своих ста слов.

Спросить он не успел. Пришли Юлави с мужем.

Андрей не знал тогда, что её зовут Юлави. Он видел только женщину лет тридцати, худую, с напряжённым, осунувшимся лицом, красивую той особой, чуть надломленной красотой, какая бывает у людей, долго не спавших. Она вошла первой, быстро, будто боялась передумать. За ней, пригнувшись под притолокой, вошёл мужчина.

Крепкий. Плечистый. Лет тридцати пяти, с тёмной короткой бородой, с тяжёлыми руками рыбака, с обветренным лицом. Совершенно живой, совершенно здоровый — Андрей оценил это машинально, по привычке последних дней смотреть на людей глазами Ошви: цвет лица, осанка, глаза. Ничего. Мужчина был здоров, как бывают здоровы люди, которые всю жизнь работают на воде. Он вошёл, огляделся с недовольным видом, как оглядываются мужчины, которых жена

притащила туда, куда им не хотелось, — и остался стоять у двери, скрестив руки.

Юлави опустилась перед Ошви на колени. И сказала.

Андрей понял. Слова были простые, он знал их все, и он понимал их правильно — и не поверил, что понял правильно. Он переспросил себя. Переложил слова в голове, как переставляют кубики. Смысл не менялся.

— Верни мне мужа.

Мужчина у двери громко выдохнул сквозь зубы — как выдыхают люди, которым в сотый раз говорят одно и то же. Сказал что-то — резко, с раздражением. Андрей разобрал: «Я здесь». И ещё: «Чего тебе ещё?» Он развёл руками, показывая на себя: вот я. Живой. Стою. Чего ещё тебе надо, женщина?

Юлави не обернулась. Она смотрела на Ошви и ждала.

* * *

Он понимал, что видит. Или думал, что понимает. Женщина, которая не спит. Муж, который раздражён. «Верни мне мужа» — так говорят не про тело, а про человека: верни мне того, каким он был. Каждая вторая жена в его мире могла бы сказать это психотерапевту. Он стал другим. Он не тот, за кого я выходила. Что-то случилось — болезнь, несчастье, пьянство, депрессия, что угодно, — и человек остался, а тот, кого любили, ушёл.

Андрей перебирал варианты с тем же спокойным профессиональным интересом, с каким вчера перебирал объясне-

ния выздоровления парня. Травма. Посттравматическое расстройство: человек возвращается, и он вроде тот же, а жена говорит — чужой. Или проще: он охладел, она не может этого принять, и ей легче думать, что его подменили, чем что он её разлюбил.

Он ждал, что Ошви сделает то, что сделала вчера со стариком: посмотрит, скажет «не ко мне», отпустит.

Ошви не отпустила.

* * *

Она встала и подошла к мужчине. Он отступил на полшага — к двери, — но Ошви взяла его за руку, как вчера брала Андрея, и мужчина, помедлив, дал себя держать. С Ошви, видимо, здесь не спорили.

Она делала то, что делала бы любая внимательная знахарка — или любой внимательный врач. Посмотрела ему в глаза, оттянув веко. Положила ладонь на лоб. Послушала, прижавшись ухом, как бьётся сердце. Велела открыть рот, посмотрела на язык и зубы. Потом что-то спросила — мужчина ответил. Спросила ещё — ответил. Андрей понимал: она спрашивает имена. Как зовут мать? Отца? Детей? Как звали деда? Мужчина отвечал быстро, раздражённо, без запинки, и Юлави, слушая, каждый раз чуть заметно кивала: да. Да. Так.

Потом Ошви спросила что-то ещё и показала на его бедро. Мужчина с досадой, но послушно, задрал подол рубахи. На бедре, сбоку, белел длинный неровный шрам — старый,

давно заживший, стянутый, как от рваной раны. Ошви провела по нему пальцем. Посмотрела на Юлави. Юлави кивнула: да. Этот.

Всё было на месте. Имена, шрамы, зубы, глаза. Андрей видел, как Ошви стоит перед мужчиной и хмурится — так, как хмурилась вчера, когда смотрела вслед старику. Озадаченно.

Потом Юлави заговорила — не к Ошви, а к мужу.

Она встала с колен и подошла к нему. Близко. Так близко, как подходят только к своим. Заглянула ему в лицо — снизу вверх, он был выше. И спросила — тихо, почти шёпотом, так, что Андрей еле разобрал, — что-то про реку. Про ночь. Про то, что было у реки ночью — давно, когда-то, когда родился их первый сын.

Расслышал Андрей не всё. Но главное было ясно и так: это что-то, чего никто, кроме них двоих, знать не мог. Вопрос-пароль. Вопрос-ключ. То, что человек помнит не головой, а всем собой.

Мужчина ответил.

Сразу. Не задумываясь. Точно — Андрей видел по лицу Юлави, что точно, слово в слово. Он помнил. Он сказал то, что было сказано тогда, у реки, в ночь, когда родился их сын, — может быть, имя, которое они тогда выбрали, может быть, обещание, может быть, что-то смешное, что знают только двое.

И сказал он это так, как пересказывают чужую историю.

Андрей не смог бы объяснить, в чём разница. Но разница была, и её видели все — и он, и Ошви, и Юлави. Слова были те. Голос — тот. Лицо — то. Но ничего не шевельнулось в этом лице, когда он их произносил. Ни улыбки, ни боли, ни нежности, ни смущения. Он сказал «самое наше» — как говорят, сколько было рыбы в сети. Он помнил факт. Факт был при нём, целый, точный, как шрам на бедре. А того, кто этот факт прожил, при нём не было.

Юлави отступила от него на шаг. Потом ещё на шаг. И заплакала — тихо, беззвучно, одними глазами, не закрывая лица.

Муж смотрел на неё. Раздражённо. Непонимающе. Как смотрят на чужую женщину, которая плачет без причины на улице.

* * *

Андрей не заметил, когда в дверях появился Пире.

Мальчик стоял на пороге, запыхавшийся, босой, — видимо, бежал, — с открытым ртом, будто хотел что-то крикнуть, да так и забыл. Он смотрел на мужчину у двери. Не на Юлави, не на Ошви, не на Андрея. На мужчину. Спокойно, внимательно, с тем самым детским интересом, с каким в первый вечер смотрел за левое плечо Андрея.

Потом сказал. Негромко, будто себе. Андрей услышал знакомые слова: «муж», «пришёл», «вода», «остался».

В доме стало так тихо, что было слышно, как булькает горький горшок на огне.

Ошви медленно повернулась к мальчику. Юлави перестала плакать. Мужчина — впервые за всё время — перестал хмуриться, и лицо у него стало пустым, как вода в затоне.

Пире, кажется, понял, что сказал что-то не то. Он замолчал, прижался к косяку, опустил глаза. Потом вспомнил, за чем бежал, — и выпалил Ошви, быстро, с другим уже лицом, детским, испуганным, — про отца. Андрей уловил: отцу хуже. Иди. Скорее.

Ошви кивнула. Но прежде чем взять корзину, она подошла к Пире, присела перед ним и спросила — тихо, ровно, так, как спрашивала парня из затона про воду, — что он сказал. Повтори.

И Пире повторил — медленнее, для неё. И на этот раз Андрей, прислушавшись, собрал фразу целиком, хоть и не был уверен в каждом слове:

— Муж — пришёл. А тот, кто с ней жил, — остался у воды.

* * *

Ошви не сделала ничего.

Ошви выпрямилась. Долго смотрела на мужчину у двери. Мужчина смотрел на неё — без страха, без злости, с тем же пустым лицом.

Потом Ошви сказала Юлави — медленно, устало — несколько слов. Андрей узнал два. «Не знаю». И «домой».

Не знаю. Иди домой.

Юлави смотрела на неё так, будто не расслышала. Ошви

повторила. Потом добавила что-то ещё, короче, с нажимом, — и Андрей уловил в этом «звать» и «не». Не зови. Больше не зови.

Она не объявила мужчину духом. Не велела ему уйти в воду, пока рыба не оставит след на сухом камне. Не жгла траву у него над головой. Она сказала «не знаю» — первые слова, которые Андрей услышал от неё без насмешки и без уверенности, — взяла корзину и ушла с Пире, быстро, почти бегом, к дому, где умирал отец мальчика.

Юлави постояла ещё немного. Потом вышла. Муж — за ней. На пороге он обернулся и посмотрел на Андрея — одну секунду, мельком. И Андрей подумал, что так, наверное, смотрел бы на него кто-нибудь, кто видит его впервые и не помнит, видел ли когда-нибудь вообще.

Андрей остался один в доме, пахнущем травами, с горьким горшком, булькающим на огне.

Вчера он смотрел на Ошви снизу вверх: её нож, её смола, её умение различать, что заговорить, а что просто нога. Она знала больше него — не про бактерии, но про людей, про тела, про то, что тут водится. А сегодня она стояла перед мужчиной с пустым лицом и сказала «не знаю».

Здесь, оказывается, тоже бывает то, чего не знает никто.

* * *

Историю он узнал вечером, от Шоныви, — она рассказала сама, без вопросов, когда Вараш вернулся и сказал ей что-то про утро у Ошви. Шоныви сидела у огня и говорила медлен-

но, для Андрея, помогая себе руками, — видимо, решила, что раз он видел, пусть знает.

Мужа звали Ондо. Весной, когда только сошёл лёд, его лодку нашли в затоне — пустую, перевёрнутую, у белого ствола с веткой-рукой. Ондо не нашли. Искали три дня — баграми, сетями, с берега. Не нашли.

На третью ночь Юлави пошла к воде.

Шоныви сказала это так, как говорят о чём-то неприличном. Пошла ночью. К затону. Одна. И позвала. По имени.

Андрей уже знал, что это значит здесь. Звать ночью — нельзя. Отвечать ночью — нельзя. Звать у воды — тем более. Звать по имени — тем более. Звать того, кто ушёл в воду, — никогда. Он вспомнил собственный рот, который закрылся сам собой у ручья, в первый вечер. И голос у стены в другую ночь: «Пи-ре».

Юлави позвала. Трое детей, голодная весна, последние запасы, — Шоныви загнула три пальца, объясняя, почему позвала, и не осуждая, просто перечисляя, — и она позвала.

А утром Ондо вышел из поймы. Сам. Мокрый, холодный, синий, — живой. Не помнил ничего. Ни затона, ни трёх дней, ни ночи. Пришёл домой, лёг у огня и проспал до вечера. Проснулся — Ондо. Имена помнит. Сети помнит. Детей помнит. Шрам на месте.

Только дети к нему не подходят. И собака — не лает, но и не подходит. И Юлави... Шоныви не стала договаривать. Пожала плечами.

Андрей долго сидел молча. Потом спросил — у него было на это слово — что будет. Что теперь будет с ними?

Шоныви посмотрела на него своими живыми тёмными глазами и ничего не ответила. Потом встала, вышла из дома, и Андрей увидел, что она подошла к вязу, к утренней коре с двумя горками каши, — посмотреть, как там.

* * *

Ондо он увидел в сумерках, когда спускался к реке.

Тот сидел один на берегу, на перевёрнутой лодке, далеко от своего дома, у самой воды. Сидел неподвижно, положив руки на колени, и смотрел вверх по течению — туда, где за поворотом реки, за ивняком, за протоками, был затон с белым стволом.

Не на воду. Не на закат. Туда.

Андрей постоял на тропинке. Он хотел пройти мимо — к воде, умыться, — и не прошёл. Он смотрел на неподвижную спину человека, который помнил всё и не был тем, кто это прожил, и думал, что Ондо сидит так, как сидят, когда прислушиваются. Как будто там, за поворотом, у затона, кто-то говорит, — тихо, так тихо, что слышно только ему.

Андрей повернулся и пошёл обратно, не умывшись.

Той ночью он долго не мог уснуть. Перед глазами стояла одна и та же картинка — мужчина, который отвечает на вопрос-пароль своей жены, точно, слово в слово, как читают по бумажке. И почему-то ему вспоминалась бабушка — как в последний год, когда он звонил ей раз в месяц, по работе, на

бегу, она говорила ему «спасибо, что позвонил» — теми же словами, каждый раз, точно, — а он отвечал «да не за что, кова», и тоже каждый раз одинаково. Точно. Слово в слово.

Он лежал в темноте и думал: если бы бабушка спросила его тогда о чём-нибудь, что знали только они двое, он ответил бы точно. Слово в слово. Только его самого в этом ответе, может быть, и не было.

Глава 18. Пустое место

Отец Пире умер ночью, под утро, когда Андрей, сидевший у изголовья, всё-таки уснул.

Его разбудила тишина. Сначала он не мог сообразить, что изменилось. Потом услышал: пропал звук. Всю ночь рядом с ним было частое, мелкое, с присвистом дыхание, и он так привык к нему, что перестал слышать. А теперь его не было. Андрей поднял голову. В доме было серо от рассвета. Молодая жена сидела у огня, как вчера, с младенцем на руках, и смотрела на мужа. Пире спал, свернувшись у отцовской головы, там, где уснул вчера после бабушкиных слов, — и Андрей сторожил его, как обещал, и не устерёг.

Его звали Пюнчо. Андрей узнал его имя только теперь, когда его произнесли вслух у мёртвого — сначала жена, тихо, одними губами, потом, громче, женщины, пришедшие на рассвете. Пюнчо — сосна. Он и был похож на сосну, наверное, когда был жив: высокий, прямой, тёмный.

Андрей вышел из дома раньше, чем проснулся Пире. Он не хотел видеть, как тот проснётся.

* * *

Готовили его весь день, и Андрей смотрел, потому что не мог не смотреть, и потому что его никто не гнал.

Женщины обмыли тело — тёплой водой, в которой плавали какие-то травы, — медленно, бережно, как моют ребёнка.

Молодая вдова приносила одежду: рубаху, лучшую, светлую, с узором по вороту, вытканым красной нитью; пояс — широкий, кожаный, с рядом бронзовых бляшек, начищенных до блеска; обмотки; обувь. Одевали долго. Пояс застёгивала сама вдова, и руки у неё не слушались, и Ошви, стоявшая рядом, помогла.

Причитали. Андрей не был готов к этому. Он помнил бабушкины похороны: тишину, всхлипы, приглушённые голоса, венки, автобус, водку за столом. Здесь было не так. Женщины — три, четыре, потом больше — сели вокруг и завели голосами, в которых не было слёз, а было что-то другое: протяжный, ритмичный, почти певучий плач, где слова шли одно за другим, как шаги, и каждое повторялось, и в каждом было имя — «Пюнчо, Пюнчо», — и какие-то обращения к нему, как к живому. Андрей понимал отдельные слова. Куда ты. Зачем ты. Кто теперь. Лодка. Сеть. Дети. Кто теперь.

Молодая вдова не причитала. Она сидела молча. Причитали за неё.

А потом начался разговор, от которого Андрею стало не по себе больше, чем от плача.

Спорили — тихо, но спорили — о вещах. Что положить с ним. Андрей уловил это не сразу, а уловив, долго не мог поверить, что разобрал правильно. Нож — да, нож — это его, без ножа не отпускают. Пояс — да. Горшок с кашей — да. А топор?

Топор у Пюнчо был хороший. Андрей видел его — лежал

у стены, с новым топором, узкий, тяжёлый, с проушиной. Один из мужчин, брат покойного, судя по лицу, — показывал на топор и говорил: положить. Его топор — ему. Другой, постарше, — показывал на вдову с младенцем, на двух малышей, цеплявшихся за её подол, — и говорил: оставить. Им нужнее. Кто будет дрова колоть? Кто будет лодку тесать?

Вдова сидела и молчала, пока они спорили над её головой.

Решили: топор — оставить. Положить старый — стёртый, с выщербленным лезвием, который Пюнчо давно не брал в руки. Андрей видел, как брат покойного, скрипнув зубами, принёс старый топор и положил рядом с телом. И видел, как вдова на секунду закрыла глаза — не от горя, от облегчения. Хороший топор оставался в доме.

* * *

Хоронили на высоком берегу выше по реке, в получасе ходьбы от поселения, у бора — там, где сосны подходили к самому обрыву и корни их висели над водой.

Андрей шёл позади, в конце процессии, с Варашем. Тело несли на носилках из жердей, покрытых берестой, — четверо мужчин, сменяясь. Впереди шли женщины, продолжая причитать, уже тише. Пире шёл рядом с мачехой, держась за её подол, и не плакал. Он не плакал весь день.

Кладбище открылось вдруг — и было совсем не похоже на кладбище. Никаких крестов, оград, памятников, табличек. Поляна на краю бора, над обрывом, поросшая травой, с невысокими, едва заметными бугорками. Какие-то бу-

горки — продолговатые, какие-то — круглые. У некоторых — остатки чего-то: черепок, почерневшая кость животного, осколок раковины. Между бугорками — тропинки, протоптанные в траве. Сосны шумели над головой.

Андрей смотрел на поляну и видел то, чего не ожидал.

Продолговатые бугорки — могилы: тело кладут в землю, вытянутым. Он видел, как рядом копают новую — деревянными лопатами, узкую, неглубокую, по росту. Но круглые бугорки были другими. У одного из них земля была разрыта — кто-то, видно, подкапывал, — и Андрей увидел в разрыве чёрное: угли, золу, мелкие белые обломки. Пережжённые кости. Здесь кого-то сожгли, а потом зарыли то, что осталось.

Он спросил Вараша — показал на круглый бугорок, на угли. Вараш ответил что-то, из чего выходило: это — не отсюда. Не нижние. Другие. Род, который сжигает. Они тоже хоронят здесь — по-своему.

Два способа хоронить. На одной поляне. Рядом. И никто не спорит, какой правильный.

Андрей стоял и чувствовал, как в голове что-то сдвигается. Он всегда знал, как знают очевидное: у каждого народа свой обряд, один народ — один обряд. А здесь, на одной поляне, одни клали своих мёртвых в землю, другие сжигали, и хоронили рядом, и ходили по одним тропинкам, и называли друг друга своими. Здесь ещё не было «марийцев»: были нижние, верхние, те, кто сжигает, и те, кто кладёт.

Пюнчо положили головой на север — Андрей проверил

по солнцу, машинально, и потом по компасу, тайком, в кармане. Рядом с ним — старый топор, нож, горшок с кашей, какой-то маленький кожаный мешочек. Вдова наклонилась и положила ему на грудь что-то маленькое — Андрей не разглядел. Потом тело накрыли берестой — широкими полосами, внахлёст, как крышей. И только потом — землёй.

Причитания смолкли. Кто-то из старших сказал над могилой несколько слов — ровно, негромко, обращаясь к Пюнчо, как к живому. Андрей уловил: «иди», «вниз», «к своим». Вниз. Не к старшим, как говорил Варах про мёртвых наверху. Вниз. Здесь говорили — «ушёл вниз».

* * *

Пустое место он заметил, когда процессия стала расходиться.

Сначала — не место. Он заметил, как ходят люди. Поляна была небольшая, тропинок немного, и люди, возвращаясь от новой могилы к краю бора, шли по ним — все, один за другим, по одной и той же дуге, огибая что-то в середине поляны. Не прямо — хотя прямо было короче. По дуге. Как огибают лужу. Или спящую собаку.

Андрей посмотрел, что они огибают.

Ничего. Трава. Ровная, густая, некошенная, без бугорка, без черепка, без кости. Пятно травы между двумя продолговатыми могилами, размером — он прикинул глазом — примерно в одну могилу. Там, где по всему ряду шли могилы одна за другой, через равные промежутки, — здесь был про-

пущ. Ряд: могила, могила, могила, пусто, могила, могила. Как выпавший зуб.

И никто на него не наступал.

Андрей стоял на краю поляны и смотрел, как люди идут мимо. Женщина с корзиной — обогнула. Двое мужчин с носилками — обогнули, хотя им пришлось перехватывать носилки на повороте. Даже дети — обогнули, не глядя, как обходят то, что обходили всегда.

Он спросил у Вараша. Показал на пустое место. Вараш посмотрел туда и ничего не сказал — отвернулся.

Тогда Андрей спросил у женщины, проходившей мимо, — у той полной, добродушной на вид, что утром причитала громче всех. Показал: что там? Кто? Она посмотрела на пустое место, потом на него, и сказала — просто, как говорят очевидное:

— Там лежит.

Кто-то лежит. Похоронен. Андрей кивнул.

А через минуту, у самой опушки, он спросил снова — у старика, который шёл последним, опираясь на палку. Показал туда же. Старик посмотрел, пожевал губами и сказал — так же просто, так же уверенно:

— Там никого нет.

Андрей переспросил. Старик повторил. Никого. Пусто. Никто там не лежит.

Андрей стоял между двумя ответами, как между двумя противоположными показаниями приборов. Там лежит —

там никого нет. Оба сказаны без тени сомнения. Оба — людьми, которые знали эту поляну всю жизнь.

Он вспомнил свою ошибку в первые дни, когда спросил у детей имя, и вспомнил, как тогда всё замолчало. Но сейчас ничего не замолчало. Сейчас ему просто ответили — два раза, и по-разному.

* * *

Пире, оказывается, был рядом.

Мальчик стоял у опушки, отстав от мачехи, и смотрел туда же, на пустое место в ряду. Смотрел долго, внимательно, прищурившись от солнца. Потом сказал — не Андрею, никому, — спокойно, как говорят о погоде:

— Там стоит.

Андрей похолодел. Он посмотрел на пустое место — трава, солнце, сосновая тень. Никого.

— Кто стоит? — спросил он. Он знал эти слова.

Пире открыл рот, чтобы ответить.

И не успел. Сзади подошла Ошви — быстро, бесшумно, — и положила ему руку на плечо. Просто положила — не сжала, не дёрнула, как дёргала Увий. Сказала одно слово, тихо. И Пире закрыл рот и опустил голову. Ошви посмотрела на Андрея — коротко, без всякого выражения — и увела мальчика к мачехе.

А Андрей сделал то, чего делать было нельзя. Он пошёл к пустому месту.

Не на него — к нему. К краю. Ему нужно было посмот-

реть. Он был геодезист, и перед ним была аномалия: ряд с равными промежутками и пропуск в ряду, которого все избегают, про который одни говорят «лежит», а другие «никого». Это можно было проверить. Можно было посмотреть, есть ли просадка грунта — могила всегда даёт просадку, даже через много лет. Можно было поискать края ямы. Можно было, в конце концов...

Его схватили за руку, когда до края пустого места оставалось три шага.

Рука была сухая, тяжёлая, с длинными пальцами — и на запястье, под задравшимся рукавом, Андрей увидел блестящую, стянутую, неровную кожу ожога.

Шемвуй.

Андрей не знал, что он здесь. Не видел, когда тот пришёл. Может быть, утром, пока готовили тело; может быть, только что. Шемвуй держал его за руку выше локтя и смотрел ему в лицо — не зло, но так, что у Андрея пересохло во рту. Сказал одно слово. Потом ещё. Андрей понял оба. Первое — то самое «нельзя». Второе — «не твоё».

Андрей попытался — у него хватило глупости — объяснить. Показал на пустое место, на соседние могилы, на ряд. Сказал, как мог: одни говорят — там лежит. Другие — никого. Почему? Кто прав?

Лицо Шемвуя стало каменным.

Он ничего не объяснил. Он просто развернул Андрея за локоть — силой, как разворачивают упрямого телёнка, — и

повёл к опушке, к тропинке, прочь от пустого места. И отпустил, только когда они вошли под сосны. И пошёл дальше, не оглядываясь, прямой, седой, быстрый, догоняя процессию.

* * *

По дороге назад, когда они отстали от остальных, Пире, шедший рядом, вдруг потянул Андрея за рукав.

Андрей наклонился. Мальчик показал глазами вперёд — на прямую спину Шемвуя, шагавшего далеко впереди. И прошептал, приблизив губы к самому уху Андрея, так, как дети шепчут самые важные тайны:

— У него рука — не от огня.

Андрей не понял. Переспросил. Пире повторил, медленнее, показав на своё запястье, на то место, где у Шемвуя начинался ожог:

— Не огонь. Обожгло — не огонь.

— А что? — спросил Андрей.

Пире пожал плечами — точно так, как пожимал Вараш. Не знаю. Просто не огонь. И побежал вперёд, к мачехе, будто ничего не говорил.

Андрей шёл по сосновому лесу, глядя в спину Шемвую, и думал.

Сегодня ему дважды не ответили — и не потому, что не знали. «Там лежит» и «там никого нет», и ни один из двоих не удивился вопросу. К пустому месту его не пустили. Ему сказали «не твоё». Мальчика, который видел, кто там стоит, увели, не дав договорить.

Он всё это время думал, что здешние люди просто не умеют объяснять. Что у них есть правила без объяснений, потому что объяснения потерялись — как потерялся смысл рюмки водки на бабушкином столе. Что знание утекло сквозь поколения, как вода сквозь пальцы, и осталась одна привычка.

А сегодня он впервые подумал о другом. Может быть, объяснения не потерялись. Может быть, их прячут. Не от него одного. От всех. Нарочно.

* * *

Вечером, в доме Пюнчо, считали.

Андрей сидел у стены и слушал, и понимал теперь больше, чем утром, — может быть, потому, что считают на любом языке одинаково. Брат покойного, старший из мужчин, вдова, двое соседей. Сеть Пюнчо — кто будет ставить? Брат. Лодка, которую Пюнчо тесал весной, — та самая, из-за которой он погиб, — недотёсанная, лежит на катках у воды. Кто будет доделывать? Пёртан — если возьмётся; а если не возьмётся — никто, и лодки не будет. Дрова на зиму — кто? Соседи — по очереди. Вдова с младенцем и двумя малышами — куда? К своим, вверх по малой реке, к отцу, — осенью, когда соберут то, что посадили. Рыба, которую Пюнчо должен был наловить на большом ходе, — рыбы этой не будет. Её надо поделить — кто сколько даст из своего.

А Пире?

На этом вопросе все посмотрели на Вараша. Вараш ответил одним словом, коротко, как отвечают на то, что давно

решено. Андрей понял: к нам. Домой. К бабке.

Пире сидел в углу, у огня, рядом с младенцем, который наконец уснул, и не поднимал головы. Он так и не заплакал.

Андрей смотрел на мужчин, раскладывающих по пальцам сеть, лодку, дрова, рыбу. В его мире человек умирает — и начинается бумажная работа: свидетельство, справки, наследство, пенсия по потере кормильца. Здесь его работу раскладывали по живым в тот же вечер, над ещё не остывшим очагом. Кто закинет его сеть. Кто дотешет его лодку. Кто накормит его детей.

Мёртвым — старый топор. Живым — всё остальное.

Он подумал о своей однокомнатной квартире на седьмом этаже, о своей ипотеке, о своей работе — и о том, кто, если он не вернётся, будет делать его работу. Никто. Её просто отдадут кому-нибудь в отделе. Его сеть никто не будет ставить. У него не было сети.

Пире в углу, не поднимая головы, пошарил у себя за пазухой, достал что-то маленькое и зажал в кулаке. Андрей не видел что. Может быть, камешек. Может быть, обрывок той самой верёвки.

Глава 19. Когда сеть рвётся

Большая рыба пошла на пятый день после похорон, и на берег вышли все.

Андрей никогда не видел столько людей в одном месте с того вечера, как провалился в этот мир. Люди приплыли с трёх рек — на лодках, на плотах, связанных из брёвен, — и берег у нижнего поселения превратился в табор: шалаши, кострища, вешала, связки прутьев для коптилен, дети, собаки, лодки, лодки, лодки. Говорили на трёх говорах сразу, и Андрей, который за три недели научился отличать верхних от нижних, теперь слышал третий — людей с малой тёмной реки, которые растягивали слова ещё сильнее нижних и вместо «да» кивали подбородком вверх, как будто показывали на небо.

Утром, до того как начали, Шемвуй и седобородый старик из нижних вышли к самой воде. Постояли. Старик держал в руках первую рыбу — ту, что вытащили на рассвете, крупную, ещё бьющуюся. Шемвуй сказал что-то — длинно, распевно, ровно, повторяя одни и те же слова, — и старик опустил рыбу обратно в воду. Живую. Первую. Андрей видел, как она, опомнившись, ударила хвостом и ушла в глубину.

Потом взялись за сети.

* * *

Большая сеть была не одна. Она была сшита из несколь-

ких.

Андрей разглядел это не сразу, а разглядев, долго изучал места сшивок. Каждый дом приносил свою сеть — ту, которую плёл зимой, чинил весной, берёг, как берёг Вараш свою десятиметровую, — и здесь, на берегу, их связывали вместе, край к краю, крепко, толстыми нитками, в одну длинную стену. Варашева сеть тоже была там — Андрей узнал её по узлам, которые они вдвоём перевязывали по вечерам наверху, у реки. Она легла в середину, между сетью Рывыжа и чьей-то нижней.

Сверху по всей длине стены шёл ряд поплавок — кусочков коры, свёрнутой бересты, лёгкого сухого дерева, — чтобы верхний край держался на воде. Снизу — ряд грузил: обожжённые глиняные кольца, камни с проточенной бороздкой, обвязанные нитью, — чтобы нижний край ложился на дно. Всё это Андрей видел руками: его поставили привязывать грузила, и к середине дня пальцы у него были в порезах от нитки.

Сеть завели в реку ниже поселения — там, где протока выходила из поймы в основное русло и рыба шла из травы в реку широким потоком. Завели на лодках, поперёк протоки, от берега до берега, дугой. А потом два десятка людей — мужчины, женщины, подростки — взялись за верёвки на обоих концах и потянули к берегу.

Андрей тянул тоже. Верёвка была мокрая, толстая, скользкая, и тянуть надо было не рывками, а ровно, всем ве-

сом, откидываясь назад, — и все вокруг тянули в одном ритме, и кто-то впереди задавал этот ритм голосом, коротким выкриком на каждый шаг назад. Андрей сначала сбивался — тянул, когда другие отпускали, отпускал, когда тянули, — и мужик позади него, огромный, пахнущий рыбой, беззлобно толкал его в спину: не так. С голосом. Слушай голос. На третьем заходе Андрей поймал ритм — и вдруг почувствовал то, чего не чувствовал никогда: что он не тянет верёвку, а что верёвку тянут все, и он — часть этого «все», как одно звено в цепи.

Сеть вышла на мелководе, и вода в ней закипела. Рыба билась, выпрыгивала, блестела серебром, и дети с визгом кидались в воду с корзинами, и Пире был среди них — впервые за эти дни Андрей видел, как он кричит и смеётся. Рыбы было столько, что Андрей не верил глазам. Корзины, корзины, корзины. Её выбрасывали на берег, и женщины тут же, на песке, начинали потрошить — быстро, ловко, не глядя, как лущат семечки.

Так было три дня. Утром — сеть, днём — рыба, вечером — коптильни, ночью — песни у костров, которых Андрей не понимал, но которые почему-то не хотелось переставать слушать. Он спал по пять часов, пальцы у него распухли от ниток и рыбьих плавников, и он был счастлив — просто, глупо, по-детски счастлив, как не был, наверное, с тех пор, как ездил на лето к бабушке.

На четвёртую ночь пошёл дождь.

Дождь шёл не здесь. Здесь только накрапывало — до утра, мелко, лениво. Ливень прошёл выше, на трёх реках, откуда приплыли люди, — ночью над лесом на севере мигали зарницы, но грома не было слышно. Никто не придал этому значения. Сеть с вечера оставили стоять в протоке, как оставляли все три ночи: к утру в неё набивалась рыба.

Андрей проснулся от крика.

Кричали на берегу. Он выскочил из шалаша — ещё серело, туман, — и увидел, что вода изменилась. Река, вчера спокойная, прозрачная, теперь была мутной, бурой, и шла быстро, и несла на себе ветки, траву, пену, клочья тины. Уровень поднялся — Андрей видел это по отмели, на которой вчера потрошили рыбу: её больше не было, над ней текла вода. На ладонь, на две — за одну ночь.

А там, где протока выходила в реку, где стояла сеть, — из воды торчали корни.

Огромное дерево. Вывороченное с корнем где-то выше, смытое подмытым берегом, принесённое ночной водой, — оно шло вниз по течению, как таран, и въехало в сеть. Андрей видел, как люди бегут по берегу, как спихивают лодки, как кто-то кричит, срывая голос. Видел, как на воде, вокруг корней, болтаются клочья — обрывки поплавков, кусок сети, вздувшийся пузырь, — и как ствол, медленно поворачиваясь, тащит за собой всю стену сети, скручивая её вокруг себя, как нитку вокруг пальца.

Её вытаскивали полдня. Сначала — дерево: рубили ветки прямо с лодок, отталкивали шестами, тянули верёвками к берегу, чтобы оно не утащило сеть дальше, в реку. Потом — саму сеть: из-под ствола, из-под корней, из путаницы веток, по кускам. Андрей стоял по грудь в холодной мутной воде и тащил, и распутывал, и снова тащил, и в какой-то момент, когда сеть зацепилась за сук, дёрнул сильнее, — и услышал, как с треском лопнуло несколько ячей. Огромный мужик рядом с ним — тот, что учил его тянуть с голосом, — схватил его за руку и молча показал: не рви. Распутай. Андрей распутал.

Когда сеть наконец вытащили на берег и расстелили на траве во всю длину, все замолчали.

Середины не было.

Не совсем не было — были клочья, обрывки, спутанный ком, лохмотья ячей, свисающие, как паутина с разорванной паутины. Дерево прошло прямо через середину стены и разорвало её, как рвут бумагу. Кусок длиной шагов в двадцать был уничтожен. Ещё столько же — порван местами, спутан, перекручен.

Андрей посмотрел, чья это середина.

Варашева. И Рывыжа. И та, нижняя, что между ними.

* * *

Он ждал ссоры. Он был уверен, что будет ссора: кто виноват, кто не убрал сеть, кто не посмотрел на небо, кто не заметил зарниц на севере. Он знал, как это бывает у людей. На

любом объекте, когда что-то ломалось, первым делом искали виноватого, потом — крайнего, а потом уже думали, как чинить.

Ссора была — короткая. Рывыж кричал на кого-то из нижних, что сеть надо было убрать с вечера, что он говорил, что видел зарницы. Нижний кричал в ответ, что три ночи стояла — и ничего. Потом седобородый старик из нижних, тот, что утром отпускал первую рыбу, сказал что-то — одно слово, — и они замолчали.

А дальше было не то, чего ждал Андрей.

Никто не стал искать виноватого. Старики — трое, от трёх рек — сели в круг на берегу, возле растерзанной сети, и стали считать. Андрей сидел рядом и слушал, и через Вараша, через Пире, через свои полторы сотни слов понимал главное.

Не кто виноват — а кто сколько даст. Сеть рвали не Вараш и не Рывыж. Сеть рвала вода. Но рыба, которую не поймают в эти дни, — это рыба всех, кто тянул. Значит, и чинить — всем, кто тянул. Нитки — от каждого дома, сколько у кого есть с зимы. Руки — от каждого дома, сколько у кого свободно. Рыба, пойманная целой частью сети, — делится как прежде, по домам, но дома, чья сеть порвана, получают больше, потому что их сеть приняла на себя дерево.

Андрей слушал и думал: страховка. Никто не придумывал этого слова, никто не подписывал полисов, а работало так же: беда одного раскладывается на всех, потому что завтра она может случиться с любым. Только вместо страховой

компании были три старика на берегу, считавшие нитки.

* * *

Чинили сеть пять дней. Андрей чинил вместе со всеми — сначала неумело, потом лучше.

Ему дали иглу — плоскую, деревянную, длиной в ладонь, с вырезом на одном конце и острым носом на другом, — на которую была намотана нитка. И кусок сети, натянутый между двумя кольями. И показали: вот так. Нитку — через ячей. Петлю — вот так. Узел — вот так, затянуть. Следующая ячей — по мерке, по дощечке, чтобы все были одинаковые. Ещё раз. Ещё. Ещё.

Он сидел над сетью с утра до вечера. Пальцы онемели, потом заболели, потом опять онемели. Спина горела. Он считал — не мог не считать. Одна ячей — полминуты, если хорошо идёт, — у женщин рядом шло втрое быстрее. В одном шаге сети по длине и по высоте — он прикинул — ячеей сотни. В двадцати шагах разорванной сети — тысячи. Десятки тысяч узлов. Каждый — руками.

Он вспомнил, как в прошлом году, собираясь на рыбалку с приятелем на Кокшагу, зашёл в магазин и купил сеть. Ему даже не понравилась — слишком мелкая ячей, — но переделывать было лень, и он купил. Пятнадцать минут. Тысяча двести рублей. А потом потерял её на коряге, выругался и не стал нырять, потому что вода была холодная. Он даже не помнил, как она выглядела.

Здесь нитка кончилась на третий день. Женщины принес-

ли ещё — из всех домов, у кого что осталось с зимы. На четвёртый день нитки не хватило снова, и половину дыр стали штопать старыми нитками, выдранными из самой сети, — из тех кусков, что порвались так, что их уже не спасти. Рвали мёртвое, чтобы защитить живое.

* * *

Старики тем временем считали дальше. И от их счёта Андрею становилось всё тревожнее.

Сеть починят — но не всю. Двадцать шагов не спасти, нитки нет. Сеть станет короче. Короче сеть — меньше рыбы, каждый день, до конца большого хода. Большой ход кончится через несколько дней — и если бы сеть была целой, этих дней хватило бы, чтобы засушить столько, сколько нужно на зиму. А теперь — не хватит.

Значит — осенью ловить больше. Осенью рыба другая, ловить её труднее. Значит — больше охоты. Значит — мужчины уйдут в лес раньше, и их не будет на полях, когда созреет зерно. Значит — женщинам больше работы на полях. Значит...

И обмен. Вараш вёз вниз шкурки, стрелы и чаши Лапкаса, чтобы выменять у людей большой реки — иногда они поднимались сюда — на железо и соль. Теперь меньше рыбы — меньше, что сушить, меньше, что отдать своим в долг, меньше, что можно обменять. Меньше железа. Меньше соли. Сломанный нож Вараша, который он носил с собой в мешочке с мхом, — скорее всего, так и останется сломанным.

Андрей сидел над своей сетью, тыкал деревянной иглой в ячейку и думал, что одно дерево, принесённое ночной водой с лесистого берега где-то на севере, перестроило жизнь трёх рек до самой зимы. Просто вода поднялась, пока все спали.

Он записал на левой странице, в «Опасностях»: «Сеть — 20 шагов потеряно. Нитки нет. Рыбы на зиму — меньше. Железа, соли — меньше. Всё из-за одного дерева». И подчеркнул «одного».

* * *

Железо нашли на пятый день, когда разбирали последний, самый спутанный ком — тот, что вытащили из-под корней.

Нашёл Андрей. Он распутывал обрывки верхней части сети — той, что с поплавками, — и пальцы наткнулись на что-то твёрдое, холодное, тяжёлое. Оно сидело в ячейках так плотно, будто его вплели: обрывки нитки обмотались вокруг, затянулись, и вытащить его сразу не получилось. Он расковырял ножом мультитула — осторожно, чтобы не резать живую нитку, — и вытащил.

Кусок железа. Рыжий, тёмный, изъеденный, в чешуе ржавчины, тяжёлый не по размеру — длиной в ладонь, узкий, с одним концом острым, а другим обломанным. Как наконечник — копья? стрелы? — только сломанный. И погнутый: острый конец загибался вбок, как будто тот, во что его воткнули когда-то, повернулся.

Андрей держал его на ладони и смотрел.

Потом посмотрел на сеть. Это была верхняя часть. Та, что

с поплавками. Та, что всё время шла по поверхности или у самой поверхности. А железо тонет. Оно не могло приплыть по течению и застрять в поплавках. Оно могло лежать на дне — и попасть в нижнюю часть сети, с грузилами, там, где сеть волочится по дну. Но не в верхнюю.

Только железо сидело не среди комьев земли и не среди корней. Оно сидело в ячеях. Обмотанное ниткой. Туго. Будто кто-то привязал.

Он показал его Варашу. Вараш взял — посмотрел, повертел, — и Андрей увидел, как у него дрогнуло лицо, как тогда, в первый день, на слове «Кожляял». Вараш показал железо седобородому старику из нижних. Старик посмотрел — и не взял в руки. Сказал что-то Варашу. Андрей уловил «старое». И ещё: «не наше». Не нашей работы. Не наших рук.

Потом железо показали Шемвую.

Шемвуй посмотрел на него долго. Очень долго — дольше, чем смотрел на Андрея в первый вечер. И тоже не взял в руки. Андрей видел, как его левая рука — та, с ожогом, — сама собой, будто без его ведома, потянулась к правому рукаву и одёрнула его, до самого запястья, хотя рукав и так был опущен. Потом Шемвуй поднял глаза на Андрея и сказал слово, которого Андрей не знал.

Вараш потом перевёл, как понял: «Твоё». Раз ты нашёл — значит, твоё.

Никто не хотел брать. Здесь, где каждый обломок ножа носили с собой как деньги, где за заклёпку спорили, — кусок

железа длиной в ладонь, почти целый наконечник. И никто не протянул руки.

Андрей завернул его в тряпицу, которую дала Ошви для пятки, — пятка уже зажила, — и положил на дно рюкзака. Рядом с выключенным телефоном в обёртке от батончика. Рядом с бумажником, в котором лежали две тысячи сто рублей.

Самое ценное здесь — рядом с самым бесполезным. И он пока не знал, что из этого что.

Глава 20. Кто идёт рядом

Назад шли пешком. Почему — Андрей сообразил не сразу, а сообразив, удивился, как не догадался раньше.

Лодки оставались внизу, с Рывыжем: ему предстояло ещё несколько дней выменивать свои шкурки на то, что приплыло с трёх рек, и потом — долго, трудно, против течения, с грузом — подниматься домой. Вверх по реке лодка шла втрое медленнее, чем вниз, и двое людей на шесте за день продвигались меньше, чем один человек пешком за полдня. Река, которая вниз была дорогой, вверх становилась работой.

А пешком — Вараш показал на пальцах — два дня. Может быть, чуть больше. Через лес, напрямик, по тропам, которые знали только те, кто по ним ходил.

Шли впятером. Вараш. Андрей. Пире, у которого теперь не было другого дома, кроме дома бабки наверху. Шемвуй. И Ошви.

Ошви шла, потому что её позвали наверх. Там, в поселении, была женщина, которой скоро рожать, — Андрей её помнил, соседку Увий, молчаливую, с тяжёлой походкой, — и у неё прошлые роды кончились плохо. Шемвуй, уходя вниз, обещал ей привести Ошви. И вёл. Ошви шла с двумя корзинами за спиной, набитыми горшочками и туесками, быстро, не отставая, и по дороге то и дело сворачивала в сто-

рону, срывала что-то, нюхала, клала в корзину, и снова догоняла, не сбавив шага.

Прощались на берегу, рано, по росе. Андрей оглядывался на нижнее поселение, пока оно не скрылось за деревьями. На гриве, у последнего дома, стоял старый вяз, и у его корней, он знал, лежал свежий кусок коры с двумя горками каши. Шоныви стояла у порога и смотрела им вслед — маленькая, прямая, неподвижная. Потом повернулась и ушла в дом.

Ондо, когда они проходили мимо, сидел на перевёрнутой лодке и смотрел вверх по реке. Не на них.

* * *

Лес в середине июня был другим, чем в мае, когда Андрей продирался через него от ручья.

Тогда он был мокрым, серым, голым, завальным, и Андрей видел в нём только препятствия. Теперь лес стоял зелёный до черноты, густой, тёплый, звенящий, и пах так, что кружилась голова: смолой, нагретой хвоей, прелью, земляникой. Земляника! Андрей увидел её на первой же поляне — красные капли в траве, — и остановился, и Пире, засмеявшись, упал на колени и стал рвать и есть горстями, и Андрей рядом с ним тоже.

Но и теперь он видел не всё — и знал уже, что не видит.

Вараш шёл впереди и читал лес, как всегда. Показывал: здесь прошли кабаны, вчера — вот, земля перерыта. Здесь лось ел кору, давно, зимой. Здесь, на песчаном пятне, — след, длинный, узкий, с когтями: барсук. Здесь — Вараш

остановился, присел, показал на примятую траву — лежала лиса, днём, на солнце, и ушла, когда услышала их. Андрей смотрел на примятую траву и видел примятую траву. Но он уже не спрашивал «откуда ты знаешь». Он запоминал.

А Ошви читала другой лес. Андрей поначалу не понимал, что она делает, — сворачивает, срывает, снова идёт. Потом разглядел: она собирает. Не всё подряд — избирательно, как хозяйка на рынке. Вот эту траву — с этой поляны, а не с той. Эти листья — только молодые, верхние. Этот корень — здесь, у ручья, а в сухом месте такой не годится. Она срывала что-то с жёлтыми цветами, растирала в пальцах, нюхала, иногда давала понюхать Андрею — и называла, и объясняла жестом: для живота, для раны, для сна. Андрей узнал немного. Зверобой — кажется, он. Тысячелистник — точно. Подорожник — тот самый, что был у него на пятке. Остальные — нет. Он видел травы, которые видел всю жизнь по обочинам, и впервые понимал, что каждая из них для кого-то — лекарство, еда или яд, а для него — просто трава.

Шемвуй шёл последним и молчал.

* * *

Андрей мерил дорогу.

Он начал это ещё в первый день, по привычке, как делал на реке, — считал шаги, засекал время, смотрел на компас. А потом придумал, как делать это быстрее и точнее, и привлёк Пире.

У него оставался рулон сигнальной ленты — почти весь,

красно-белый, — и он отмотал от него кусок длиной, по рулетке, ровно в двадцать метров. Один конец держал сам, другой давал Пире, и Пире бежал вперёд по тропе, пока лента не натягивалась, — и останавливался, и ждал. Андрей подходил к нему, отмечал в блокноте «один», забирал конец, и Пире бежал снова. Двадцать метров. Ещё двадцать. Мерная лента — так мерили землемеры сто лет назад, цепью, только у него была лента вместо цепи и мальчик вместо помощника.

Пире был в восторге. Это была игра — лучшая игра на свете, — и в ней он был главным: бежал, натягивал, кричал «Всё!», когда лента звенела, как тетива. Андрей видел, что мальчишка оживает — впервые с тех пор, как умер отец. Он бегал по тропе с красно-белой лентой, как с флагом, и смеялся, и не думал о свежей могиле у бора.

Шемвуй смотрел на ленту с непонятным выражением. Вараш — с интересом: он даже взял однажды конец и сам пробежал, чтобы понять, как это работает. Ошви — никак.

К вечеру первого дня Андрей знал, сколько они прошли, точнее, чем знал бы кто угодно в этом мире: четырнадцать с половиной километров. И сколько осталось, если Вараш прав насчёт двух дней: примерно столько же. Он записал это, и нарисовал в блокноте кривую тропы, и отметил ручьи, поляны, место, где лежала лиса. Это была первая карта этой земли, снятая почти по-настоящему.

* * *

На привале второго дня, в полдень, у ручья, Пире сидел

рядом с Андреем и болтал.

Он болтал всё утро — так, как болтают дети, которые долго молчали, а потом вдруг начали говорить и не могут остановиться: про ленту, про землянику, про барсука, про то, что у бабки дома теперь будет весело, потому что он вернулся. Андрей понимал половину и кивал. Он лежал на спине в траве, глядя в небо сквозь листья, и ему было хорошо.

Потом Пире замолчал. Андрей не сразу заметил. А когда заметил — повернул голову.

Мальчик смотрел не на него. Мимо. На траву слева от Андрея, на полшага в сторону, на пустое место у его левого плеча. Смотрел спокойно, с интересом. И улыбался — вежливо, как улыбаются незнакомому взрослому, который им понравился.

Потом Пире что-то спросил. Не у Андрея — у пустого места. Подождал. Кивнул, будто получил ответ. Засмеялся.

Андрей медленно сел.

— С кем ты говоришь? — спросил он. У него были для этого слова.

Пире посмотрел на него — удивлённо, будто Андрей спросил, с кем тот сидит у ручья. Показал подбородком на пустое место рядом с Андреем.

— С ним. Он с тобой ходит.

Андрей похолодел. Он вспомнил первый вечер у входа в поселение: мальчик, который смотрит за его левое плечо и кланяется. Вспомнил порог: «Кто вошёл с тобой?» — «Ста-

рый. Он не остаётся».

— Какой он? — спросил Андрей. Голос сел. — Какой — он?

Пире охотно начал рассказывать. Для него это было продолжением той же болтовни — ещё одна интересная вещь, как барсук или лента. Андрей слушал и понимал не всё, но Пире помогал себе руками, как всегда, и руки говорили яснее слов.

Мужчина. Не старый — не очень старый. («Старый», — сказал тогда Пире на пороге. Значит, не про годы, мелькнуло у Андрея. Давний.) Вот такой — Пире поднял руку над головой — высокий. Лицо — худое. Усы — Пире провёл пальцем над своей губой. Бровь — Пире коснулся своей левой брови и провёл поперёк неё черту: разрезана. Одежда — Пире долго искал слово и не нашёл, и показал: зелёная, как листья, только тусклая. Короткая — до сюда, до пояса, а не до колен, как у всех. А на ней — Пире показал на свою грудь сверху вниз, точками, тыкая пальцем, — вот так, в ряд, маленькие, круглые, блестят. И на груди, сбоку — круглое, большое, блестит. А на голове...

Пире замялся. Потом подобрал с земли палочку и стал рисовать на влажном песке у ручья.

Шапка. Треугольная — нет, не треугольная: длинная, узкая, с углом наверху, с вмятиной посередине, как лодочка, перевёрнутая днищем вверх. Пире нарисовал её старательно, высунув язык. А потом, посередине шапки, спереди, над

самым лбом, нарисовал ещё что-то маленькое. Пять линий. Острых. Сходящихся и расходящихся.

Звезду.

Пятиконечную звезду. Неровную, кривую, детскую — но звезду, которую Андрей видел тысячу раз в своей жизни: на плакатах, на памятниках, на старых открытках к Девятому мая, на пилотках в фильмах про войну. И на фотографии в бабушкином доме.

— Красная, — сказал Пире и ткнул палочкой в звезду. — Вот тут. Красная.

* * *

Андрей сидел над рисунком на песке и не мог пошевелиться.

Фотография висела в бабушкином доме над кроватью, в простенке между окнами, в деревянной рамке, под стеклом, пожелтевшая, с отбитым уголком. Прадед Степан. Бабушкин отец. Снят где-то в сорок втором, в каком-то городе, где был фотограф, — может быть, в Йошкар-Оле, на пути на фронт, — и прислан домой в письме, и бабушка берегла её всю жизнь. Андрей смотрел на неё каждое лето своего детства, засыпая. Молодой, худой, с тонкими усами. Гимнастёрка. Пуговицы в ряд. Пилотка, сдвинутая набок, и на пилотке — звёздочка. На груди — медаль; бабушка говорила, «за отвагу», и гордилась этим так, будто это она сама. И на левой брови — шрам, поперёк: бабушка рассказывала, мальчишкой упал с дерева.

Пропал без вести в сорок третьем. Бабушке было пять лет. Она всю жизнь не знала, где он лежит.

Пире смотрел на него с любопытством.

— Ты его знаешь? — спросил мальчик.

Андрей не ответил. Он смотрел на пустое место рядом с собой — на траву, на солнечные пятна, на ручей. Ничего. Никого.

Шапка с углом. И звезда.

Пятиконечную звезду никто здесь не рисует. Андрей не видел её ни на одной вещи, ни на одном узоре, ни на одной вышивке, ни на одном бронзовом украшении за шесть недель. Здесь были кольца, птицы, ёлочки, ромбы, кресты, волны. Звезды — не было.

— Он мёртвый? — спросил Андрей. Слова пришли сами.

Пире задумался. Посмотрел на пустое место, будто спрашивая. Потом покачал головой — не «нет», а как-то иначе: неуверенно, как качают головой, когда вопрос задан неправильно.

— Не мёртвый здесь, — сказал он. И подумал ещё. — Мёртвый — там.

— Где — там?

Пире махнул рукой. Не на лес. Не на небо. Не на землю. Куда-то — вбок, в сторону, в никуда, как машут дети, когда не знают, как объяснить. Там. Не здесь. Где-то, где он мёртвый. А здесь — не мёртвый. Здесь он просто ходит рядом.

* * *

Андрей не заметил, когда подошёл Шемвуй.

Тот стоял над ними, над рисунком на песке, и смотрел — на шапку, на звезду, на Пире, на Андрея. И на пустое место. Андрей видел, как Шемвуй скользнул по нему взглядом — быстро, как смотрел в первый вечер, уходя, — и как у него на скулах проступили желваки.

Шемвуй наклонился и стёр рисунок. Одним движением ладони, плашмя, как стирают написанное мелом. Шапка, звезда — всё исчезло, остался гладкий мокрый песок.

Потом он сказал Пире что-то — тихо, но так, что мальчик сразу вскочил и отбежал к Ошви. Потом повернулся к Андрею.

Андрей хотел спросить. Он уже открыл рот. Шемвуй поднял руку — ладонью вперёд, — и Андрей замолчал.

Шемвуй говорил медленно, выбирая слова, которые Андрей знал, — впервые за всё время говорил с ним сам, без Вараша, и явно старался, чтобы его поняли. Андрей разобрал не всё. Но главное разобрал — а вечером переспросил у Вараша и убедился, что не ошибся.

Не спрашивай мальчика. Не спрашивай про этого. Не смотри туда. Если на него смотреть — если спрашивать, если называть, если думать про него, — он останется. Он сейчас ходит и уходит. Не остаётся — помнишь? Мальчик сказал: не остаётся. А если на него смотреть, он останется. И тогда будет плохо. Тебе. Мальчику. Ему. Всем.

Андрей кивнул. Шемвуй смотрел на него ещё секунду —

и отошёл.

* * *

Шли дальше молча. Пире больше не бегал с лентой — Андрей не решился его позвать, а Пире не просился. Мальчик шёл рядом с Ошви, держась за её корзину, и не оглядывался.

Андрей шёл и думал. И мысль, которая пришла к нему у ручья, не отпускала, и он не мог её прогнать, как прогонял раньше. Она была слишком простой. Слишком геометрической.

Прадед Степан умер в сорок третьем году двадцатого века. Где-то под Курском, или под Орлом, или где там, в каком-то поле, в какой-то воронке, — его так и не нашли. Он был мёртвым там. В двадцатом веке. Через тысячу четыреста лет отсюда.

А здесь — в этом мире, где Андрей теперь жил, — Степана ещё не было. Он не родился. Его мать не родилась. Его прабабка не родилась. Ни его, ни его звезды на пилотке, ни войны, ни Курска, ни фотографии в бабушкином доме — ничего этого ещё не существовало. Здесь он не мог быть мёртвым. Здесь его просто не было.

«Не мёртвый здесь. Мёртвый — там».

Мальчик сказал это не про место. Андрей понял это так ясно, как понимают на объекте, что ошибка не в измерениях, а в системе координат. Все эти недели он мерил, как геодезист, — метры, шаги, азимуты — и искал ошибку в расстояниях.

А ошибка, может быть, была не только в расстояниях.

Если рядом с ним ходит человек, умерший в сорок третьем, — значит, «там» и «здесь» это не только два места. Это ещё и два времени. И что-то между ними протекает — так же, как протекает затон, который оказывается то в часе пути, то в двенадцати минутах.

Так же, как протекло однажды у упавшей липы.

Он споткнулся о корень и чуть не упал. Вараш, шедший впереди, обернулся — Андрей махнул рукой: ничего.

Он не думал об этом раньше вот так, прямо. Он попал в прошлое: как — неизвестно, почему — неизвестно, несчастный случай, провал, дыра. Он ни разу не подумал, что эта дыра не единственная. Что то, что случилось с ним у липы, случается здесь постоянно, мелко, по-разному — с затоном, с Ондо, со старухой, которая называет дочь именем бабки, с пустым местом среди могил, — и что он просто попал в самую большую.

Лес шумел. Пире впереди держался за корзину Ошви. Шемвуй шёл последним — прямой, седой, молчаливый — и Андрей знал, не оборачиваясь, что тот смотрит ему в спину. Или — чуть в сторону. Туда, где за левым плечом, может быть, прямо сейчас шёл молодой худой человек в выцветшей гимнастёрке, с медалью на груди и с красной звёздочкой на пилотке, — ничего не говоря, никуда не торопясь, — и не оставался.

Андрей не обернулся. Шемвуй сказал: не смотри.

Он и не смотрел. Он только шёл — и впервые за шесть недель ему было не страшно, что он один в этом мире.

Глава 21. Запрет охотника

Утром третьего дня Андрей позвал Пире мерить дорогу — и потом не мог себе этого простить.

Позвал, потому что мальчишка с вчерашнего полудня не сказал ни слова. Шёл рядом с Ошви, держась за её корзину, смотрел под ноги, и Андрей видел, что тот боится — не призрака, нет, а того, что сделал что-то не так, что Шемвуй сердится, что из-за него было плохо. Андрею хотелось, чтобы он снова засмеялся. Он достал ленту, отмотал свои двадцать метров, протянул мальчику конец и показал вперёд, на поляну: беги.

Пире посмотрел на Шемвуя. Шемвуй ничего не сказал. И Пире, помедлив, взял конец и побежал.

Поляна была широкая, в высокой траве по пояс, с кочками и валунами, прогретая утренним солнцем. Пире бежал через неё, и лента разматывалась за ним, трепеща, и он кричал уже своё «Всё!» — ещё не добежав, от радости, — и вдруг остановился. Не у конца ленты. Посреди травы. И закричал по-другому.

Андрей добежал до него первым.

Мальчик сидел в траве и держался за ногу, за щиколотку, и глаза у него были огромные и мокрые. На щиколотке, чуть выше косточки, — две крошечные точки, рядом. Красные. Из них медленно выступала кровь.

В траве, в двух шагах, у тёплого валуна, Андрей увидел, как что-то тёмное, узорчатое, толщиной в палец, неторопливо уползает в щель между камнями.

Гадюка.

* * *

Ошви пришла через полминуты и сделала всё так быстро, что Андрей даже не успел подумать, что сам бы сделал.

Она уложила Пире на спину, прямо в траву. Велела не двигаться — жестом, коротко, так, что мальчик замер. Выдавила из ранок кровь, сколько вышло. Промыла водой из фляги — не из Андреевой бутылки, а из своей, кожаной, куда с утра набрала какого-то отвара. Потом достала из корзины пучок травы, разжевала, приложила к укусу, замотала. Потом села рядом, положила ладонь Пире на грудь, другую — на ногу, выше укуса, и заговорила.

Это было похоже на то, что она говорила над парнем из затона, — ровно, быстро, без интонации, повторяя. Только слова были другие. Андрей уловил «змея», «камень», «назад», «зуб». И «холодный» — много раз. И ещё что-то про то, как змея уходит под камень и не выходит, пока камень не заговорит. Невозможное условие. Опять ловушка — как тогда, внизу, с рыбой, которая оставит след на сухом камне.

Три раза, слово в слово. Потом Ошви плюнула на траву рядом с валуном, где скрылась гадюка, и растёрла плевком ногой.

А потом — Андрей видел её лицо — перестала быть уве-

ренной.

Нога у Пире опухала на глазах. К полудню она раздулась от щиколотки до колена, стала багровой, глянцевой, горячей. Мальчика вырвало — один раз, потом ещё. Он стал бледный, мокрый, вялый, глаза закатывались, и он всё время хотел спать, а Ошви не давала — трясла его за плечо, говорила с ним, заставляла отвечать.

Андрей стоял рядом с лентой в руках, со своими двадцатью метрами красно-белой пластиковой полосы, которую он дал мальчику, чтобы тот побегал, и чувствовал, как у него внутри всё медленно и тяжело проваливается.

Он знал про гадюк всё, что пишут в памятках для туристов: для взрослого укус редко смертелен, для ребёнка другое дело; покой, обильное питьё, холод, врач, сыворотка; не резать, не жгутовать, не давать спиртного. И ни одна памятка не говорила, что делать, если до ближайшего врача тысяча четыреста лет.

* * *

Решали в тени, у края поляны.

Андрей понимал не всё. Но понимал достаточно — и потом, вечером, досказал себе недостающее.

До поселения — Вараш показал рукой — прямо вон туда, на северо-восток. Если идти, как они шли, — вокруг: по краю большого болота, через ручьи, по тропе, которую знали все, — до вечера следующего дня. Полтора дня. С ребёнком на руках — дольше. С ребёнком, которого рвёт, который го-

рит, которого нельзя трясти, нельзя оставлять одного на холоде ночью у болота, — Ошви покачала головой. Она сказала что-то Варашу, коротко, глядя ему прямо в глаза, и одно слово Андрей знал. «Не донесём».

А если прямо...

Вараш ничего не сказал. Он смотрел туда, на северо-восток. Туда, где за поляной, за полосой березняка, начинался лес. Андрей посмотрел тоже — и сначала ничего особенного не увидел. Лес как лес. Ели, тёмные, старые, и между ними — сумрак.

Потом увидел, что Вараш смотрит на этот лес так же, как смотрел в первый день у лип. Терпеливо. Как на горячую плиту.

— Туда нельзя, — сказал Андрей. Не спросил — сказал. Он уже знал это лицо.

Вараш не ответил.

Ошви посмотрела на Вараша. Потом на Шемвуя. Шемвуй сидел на камне, уперев ладони в колени, и тоже смотрел на северо-восток, и лицо у него было такое, будто его ничего не касается.

Вараш сказал — не громко, одним словом — «нет». И повторил. И тогда, впервые за всё время, что Андрей его знал, начал рассказывать. Сам. Без вопросов.

Андрей понимал с пятого на десятое. Но руки Вараша, как всегда, говорили яснее слов, и он понял.

Давно. Вараш был маленький — ладонь у колена, как Пи-

ре. Зимой. Один человек из их поселения — Вараш назвал имя, которое ничего не сказало Андрею, но потом добавил «сын Лапкаса», и Андрей вздрогнул, — пошёл этим лесом. Прямо. Потому что было быстрее: он гнался за лосем, раненым, и не хотел упустить. Он прошёл. Вышел с другой стороны. Вернулся домой — с лосем, с мясом, живой, весёлый.

А через три дня перестал есть.

Сидел у дома и смотрел на тот лес. Не спал. Не говорил. Смотрел. Его звали — не отвечал. Мать звала — не отвечал. Лапкас звал — не отвечал. На седьмой день утром его не было. Нашли у края этого леса. Сидел под елью, лицом к деревьям, прямо, как живой. Замёрзший.

Вараш показал, как он сидел: спина прямая, руки на коленях, лицо — туда. Вараш видел его сам. Ему было — ладонь у колена.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.